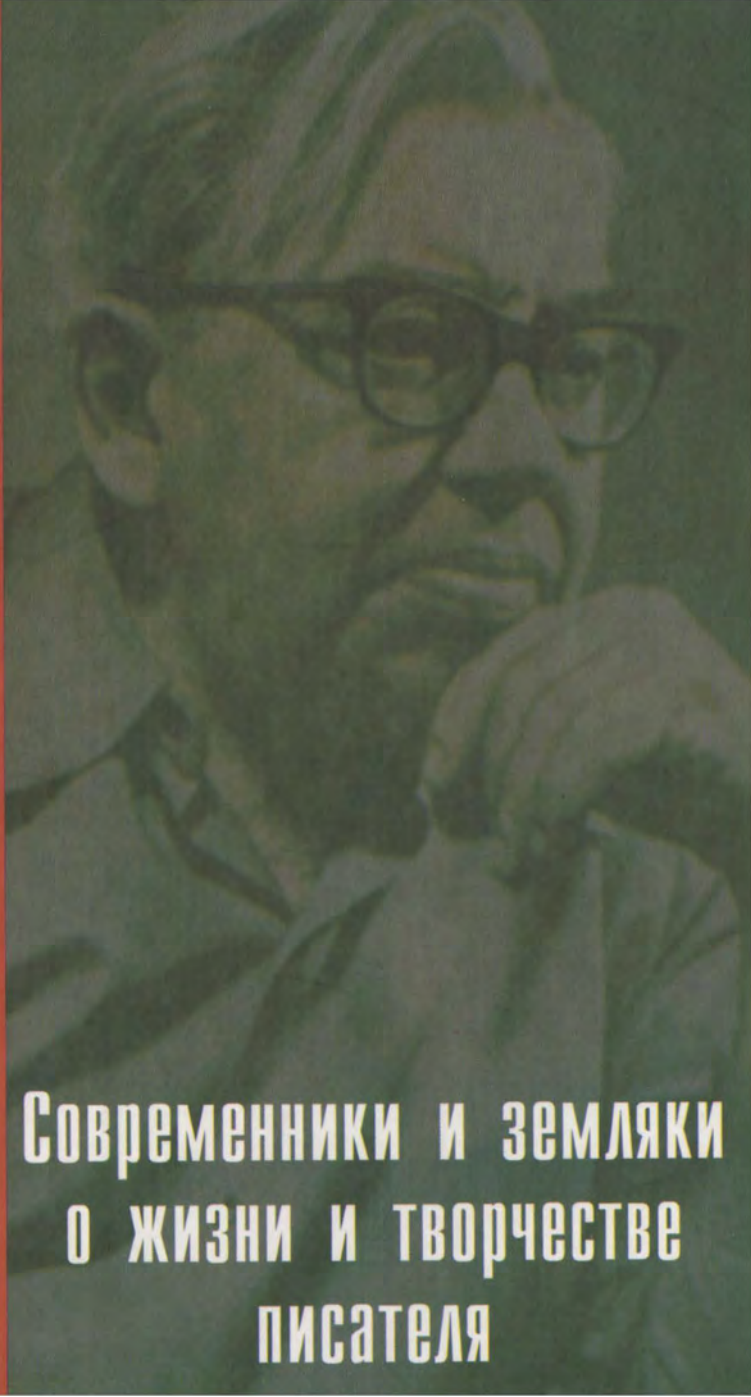


ИВАН ШУЖОВ

Современники и земляки
о жизни и творчестве
писателя



ББК 84(2Рос=Рус)6

УДК 882-94

И18

Иван Шухов. Современники и земляки о жизни и творчестве писателя. — М.: Воскресенье, 2006. — 256 с.

Книга посвящена жизни и творчеству известного писателя Ивана Шухова, чья судьба прочно связана с просторами казахской степи. Авторы представляют читателю образ сильного, серьезного, ответственного человека, восславившего в минувшем веке чистую красоту родного Приишимья.

ISBN 5-88528-501-2

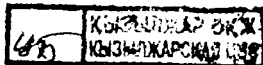
© Составление: Ж. Сулейменов, 2006.

© Макет, верстка, оформление: «Воскресенье», 2006.

ИВАН ШУХОВ

Современники и земляки о жизни и творчестве писателя

Москва
2006



01 49275

В СТЕПИ ЕГО СЕРДЦЕ

Известному казахстанскому писателю, лауреату Государственной премии Казахстана Ивану Петровичу Шухову исполняется 100 лет.

Удивительно, но это факт: в Жамбылском районе нашей Северо-Казахстанской области родились, жили и творили выдающиеся казахстанские писатели Габит Мусрепов, Сабит Муканов и Иван Шухов.

Могучий талант этих замечательных писателей, литературные успехи и общественная деятельность высоко оценены разными поколениями в Казахстане и за его пределами. Сегодня, в независимой Республике Казахстан, мы с интересом и признательностью читаем их талантливые произведения.

Убедительно сказал в книге “В потоке истории” Президент Н.А. Назарбаев: “Культурное пространство Казахстана есть пространство взаимосвязанности и взаимодополняемости различных этнокультур. Мы открыто формулируем и проводим эти принципы, и здесь нет никакой тактической политической игры или желания утаить что-либо. Да, многие незадачливые Кассандры предвещали этнический хаос в Казахстане, прежде всего по причинам культурного порядка. Да, сложный этнокультурный состав потенциально несет в себе кон-

фликтный заряд. Но помимо достаточно взвешенной внутренней политики по национальному вопросу, в Казахстане огромную роль сыграло и то обстоятельство, что взаимодействие культур часто развивалось не по канонам тоталитарного государства, но вопреки им. Именно длительный опыт культурных контактов, как бы поверхностны и ограничены они не были порой, сыграл свою позитивную роль”.

Иван Шухов... Хотя миновало почти три десятка лет с печального мига, когда этот человек ушел в мир иной, в вечность — дом его, что в Пресновке, не пустует. Здесь обустроен музей.

Говорят, что писатель был в быту непривередлив. Действительно, жил он скромно, просто, открыто. Едва ли думал, что в рабочий кабинет его будут водить экскурсии. Но в том и проявилось уважение земляков, что сохранили люди предметы писательского, редакторского обихода, сохранили его недорогие личные вещи — приметы ушедшей советской эпохи. Конечно, такая овеществленная память — это признак непреходящего интереса к незаурядной личности Ивана Петровича.

Значимо, что собираются местные жители в этом доме-музее, чтобы вспомнить старину, попеть казачьи песни. Здесь проходят традиционные Шуховские чтения. Немало здесь бывает и гостей, специально приезжающих на Родину Ивана Шухова. Помнят североказахстанцы не только Ивана, самого младшего из тринадцати детей Шуховых. Знают по рассказам родителей или дедов и его отца, известного в Приишимье гуртоправа Петра Семеновича Шухова, знают и его мать Ульяну Ивановну. Это были люди, не получившие образования. А вот младшенький сын вышел у них в писатели...

“Всем, что во мне есть хорошего — в человеке и литераторе — обязан я моим неграмотным родителям,

в первую очередь — моей матери”, — откровенничает Шухов. Он рассказывает как о главной человеческой черте этой простой станичной казачки — о ее общительности. Отец же изездил всю северную степь, знал, чем живет и казачья станица, и казахский аул. Важно, что рассказы отца о нравах, обычаях современников легли в основу воспитания детей, стали краеугольным камнем в определении творческого начала Ивана.

Как всякие добропорядочные родители Шуховы стремились, чтобы дети превзошли их в жизни. Они нашли возможность дать Ивану немалое по тем временам образование, а годы учебы в Петропавловске и Омске, первая поездка в Москву сблизили будущего писателя с передовыми творческими людьми.

Общеизвестно о дружбе Ивана Шухова с Михаилом Шолоховым. Конечно же двух молодых литераторов объединила принадлежность к казачеству. Он вспоминает: “Тогда мы только начали входить в литературу, но нас связывала общность жизненного материала и опыта. Считаю, что мне повезло — тесное, непосредственное общение с Шолоховым в самом начале моей писательской биографии во многом помогло мне в литературном самоопределении. Помню глубочайшее впечатление, которое вызвали у меня опубликованные первые главы “Тихого Дона”. Они-то и послужили своеобразным импульсом к написанию “Горькой линии”.

Роман “Горькая линия”, изданный в год 25-летия автора, явился мощным прорывом Ивана Шухова в большую литературу.

В письме к молодому коллеге А.М. Горький отмечает: “Вы написали очень хорошую книгу, это неоспоримо. Читая “Горькую линию”, получаешь впечатление, что автор — человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно. Будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтобы изображать казаков с беспощадной и правдивой суровос-

тью, вполне заслуженной ими... Вы не могли видеть все, что изображается Вами. Но когда читаешь Вашу книгу, — чувствуешь, что Вы как будто были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображенных Вами, что Вы как бы подслушали все мысли, поняли все чувствования Ваших героев. Вот это есть подлинное, настоящее искусство изображения жизни силою слова”.

В свою очередь Сабит Муқанов, оценивая первое крупное произведение своего земляка и с детских лет товарища, пишет: “Горькая линия” Шухова хороша не только тем, что в ней жизнь казачества берется в классовом разрезе и художник выносит свой приговор кулачеству, но и тем, что автор показывает вековую дружбу казахского народа с великим русским народом”.

Социальные реформы в селе легли в основу следующего произведения Шухова, романа “Ненависть”. По свидетельству очевидцев писатель работал над этим романом до 15 часов в день, и произведение родилось в короткий срок. Однако оно не видится как поспешное.

Судьба подарила И.Шухову возможность пожить в российской и казахстанской столицах, побывать за океаном, однако сердце его всегда с любовью хранило дух казахских просторов. Уверен, что серьезный читатель не единожды заново перечитывал, к примеру, вот эти точные строки одной из глав “Ненависти”: “Пятые сутки лежала степь, словно испепеленная огнем и градом. Она была обожжена суровым дыханием свирепого вихря. Пропитанный солью и ядовитым запахом солончака ветер поднимал с далеких земных окраин снежные смерчи и грозно нес их в степь, казалось, лишенную всего живого. Кружились, порхали в воздухе сухие стебли и листья чернобыльника, и солнце, закрытое пепельным сумраком, зловеще и скупно просвечивало из холодной небесной мглы”.

Так же точно, как явления природы, воспроизводит И.Шухов и отношения между людьми. Можно цитировать еще ряд крупных писателей или литературоведов, но, надо думать, Иван Петрович предлагал свое видение жизни не только профессионалам пера. Популярность “Ненависти” подтверждена статистикой: с 1932 по 1947 год роман издавался 14 раз, то есть сотни тысяч экземпляров были востребованы. По этому произведению снят в 1935 году художественный фильм “Вражьи тропы”. И если обратиться к истории кинематографа — подтвердится, что право на экранизацию семь десятков лет назад имели не ремесленные поделки, но произведения значительные, выдающиеся.

Ценность всего, что создал И.Шухов в литературе и публицистике, непреходяща. По его книгам молодой читатель может без поправок оценивать советскую историю, события на севере Казахстана и в огромной стране. Романы “Горькая линия”, “Ненависть”, “Родина”, “Действующая армия”, очерки об участии земляков в Великой Отечественной войне, его повести и рассказы, многочисленные публикации на страницах самых крупных изданий, редакторская деятельность, наконец — “Пресновские страницы” — высоко оценены государством и обществом.

Но были в его биографии и драматические эпизоды. Хотя Ивана Шухова обошла участь выдающего казахского поэта Магжана Жумабаева, Иван Петрович все-таки пострадал, стремясь восстановить в литературе доброе имя Магжана. Редактор редкого по подбору публикаций журнала “Простор” был снят со своего поста за попытку опубликовать стихи репрессированного поэта.

Иван Петрович не только оставил в памяти народа изображение степи в ее чуть ли не первоизданном виде. Он был в числе первых писателей, восславивших освоение целины. При этом отдавал предпочтение расска-

зу о тех людях, кто не приехал в наши края издалека, но изначально жил здесь и откликнулся на смелый проект по поднятию и освоению целины.

Сегодня, в год 100-летия со дня рождения И.П. Шухова, читатель держит в руках книгу, посвященную этому замечательному человеку, большому художнику. Материалы разных авторов, собранные в этом сборнике могут всерьез помочь сориентироваться в потоке литературоведческих трудов и том реалистическом мире, который создал в литературе наш земляк, честный правдивый труженик — Иван Петрович Шухов.

ДОРОГОЙ МОЙ ЗЕМЛЯК И ДРУГ

Короткий звонок в прихожей. Кто бы это спозаранку? Открываю — ну, конечно, Шухов.

— Габит, курить шибко охота, а спички как на грех вышли. Дай, ради Бога.

Просьба пустяковая, но выполнить ее я вовсе не спешу. С озабоченным видом ухожу в комнату, топчусь там некоторое время, потом возвращаюсь с пустыми руками:

— Нету, Иван, спичек.

— Ни одной?! Брось, есть же — по глазам вижу!

— Да у тебя-то ведь тоже нету.

— Ну! Сейчас только за простоквашей ходил. Теперь вот, язви его, опять в магазин тащиться... Ладно, запомню.

Кряхтит с досады в коридоре, сильно хлопает дверью.

Через минуту со спичками (они у меня, конечно, были) звоню к нему — в квартиру напротив.

Радуетя:

— Ну и хитер ты! Разыгрываешь бесперечь. Да ладно, Бог с тобой, заходи чай пить.

И сидим довольные, отводя душу, пьем дымящийся, крепкий ароматный чай,— заваривать его Шухов был

великий мастер,— толкуем совсем не о высоких материях: разве соседям не о чем больше поговорить?

Так частенько, под разными предлогами (а то и без них) навещали мы друг друга, лет пятнадцать живя рядышком, дверь в дверь. Если же говорить фигурально, “дверь в дверь” жили мы гораздо дольше — на протяжении нескольких десятилетий, начиная со времен нашей давней, зоревой (слово Ивана Петровича) юности. И родились, можно сказать, по соседству: он — в Пресновке, я — в ауле неподалеку от другой казачьей станицы — Пресногорьковской. И в ранние годы свои видели одни и те же широкие ковыльные просторы, чистые озера да березовые перелески, дышали воздухом Северного Казахстана, настоящим на вольном степном разнотравье. Великолепно, поэтично сказано об этом у Ивана Петровича в повести о детстве с чудесным, по-шуховски простым и лиричным названием “Трава в чистом поле”.

Но как бы ни были милы нам уголки земли, где мы появились на свет и сделали первые шаги, дороги жизни позвали нас вдаль, в большие шумные города, к книгам и просвещению, чтобы свести вместе — возмужавших, успевших немало узнать, повидать и кое-что сделать в литературе. Во всяком случае, Шухов был уже автором романов “Горькая линия” и “Ненависть”, отмеченных А. М. Горьким и выдержавших только за два года с десятков изданий общим тиражом почти в миллион экземпляров.

К этому времени и относится первое наше личное знакомство. Правда, началось оно при не совсем благоприятных, что ли, обстоятельствах, имевших свою краткую предысторию. Не то в тридцать четвертом, не то в тридцать пятом году Шухов и Беймбет Майлин подписали с “Ленфильмом” договор на сценарий картины “Амангельды”. А тут вскоре подоспела памятная дата — 15-летний юбилей Советского Казахстана. Событие

но отмечалось широко, празднично, на торжества приехал в Казахстан Михаил Иванович Калинин. В Москве тогда же побывала казахстанская делегация, в состав ее входили видные партийные и государственные деятели республики — Л. И. Мирзоян, У. Д. Исаев, А. Г. Джангильдин и другие. На правительственном приеме, устроенном в Кремле в честь гостей, И. В. Сталин вдруг спросил, видели ли они фильм “Чапаев”, — он только что вышел на экраны и сразу же завоевал огромный успех. Получив утвердительный ответ, Иосиф Виссарионович задумался, потом неожиданно сказал: “У вас ведь, товарищи, есть свой Чапаев... Это — Амангельды...”

Годом позже, во время первой Декады казахской литературы и искусства в Москве, в беседе с посланцами республики, И. В. Сталин, вспомнив о прошлом разговоре, поинтересовался, как обстоят дела с фильмом о “казахском Чапаеве”. Они, если сказать откровенно, обстояли не ахти, работа над сценарием даже не начиналась. Правда, Майлин давно готов был приступить к делу и ждал своего напарника, но Шухов, видимо увлеченный собственными творческими замыслами, все откладывал свой приезд. Не оказалось его и в Москве во время декады. Поэтому Майлину и мне поручили найти, взамен Ивана Петровича, другого советского соавтора.

Мы решили обратиться к Всеволоду Иванову и вдвоем отправились к нему на подмосковную дачу. Наша просьба поначалу повергла Всеволода Вячеславовича в некоторое смятение. Он говорил, что, дескать, оторвался от Казахстана, не знает, как быть... Так мы беседовали, гуляя по лесу возле писательских дач, и вдруг встретили Фадеева. Рослый, подтянутый, улыбочивый, он широким приветственным жестом раскинул свои могучие руки: “О, казахи! Нынешние герои Москвы! Поздравляю! Куляш Байсеитова... 24 года... Неслы-

ханнный успех! Скоро станет народной артисткой СССР!”

Да что и говорить, настроение у всех нас было приподнятое. Однако при всем том и заботы тоже не оставляли. В конце концов Всеволод Иванов согласился сотрудничать, но при условии, что материал для сценария мы соберем сами, а уж потом приступим к совместной работе.

Сразу же после декады пришлось заново оформлять договор, и товарищеская этика обязывала нас сделать какой-то жест, ну хотя бы показаться Ивану Петровичу на глаза, чтобы совесть была спокойна. Хотелось встретиться лично и все по-дружески уладить.

Сначала путь наш пролег к месту действия будущей кинокартины — в Тургайские степи, на родину Амангельды. Нужный материал мы там собрали и, послав в Пресновку Шухову телеграмму откуда-то, кажется, из Батпаккары: “Едем к тебе, встречай”, взяли курс дальше на север. Впрочем, современное выражение “взяли курс” звучит тут скорее иронически: курс-то этот пришлось держать главным образом на перекладных.

И вот добрались мы наконец таким манером до станицы, а Шухова на месте не застали. Дома на берегу озера, где жил он впоследствии многие годы, еще не было, и Иван Петрович той летней порой обитал, как бы сказали сейчас, в дачной местности, красивом березовом лесу, километрах в восьми от Пресновки. Эти леса, или, как их там называют, колки, ковыльные степи да чистые, отражающие небо озера придают неповторимый колорит и очарование нашему общему с Иваном Петровичем родимому краю.

Каково же было наше изумление, когда, подъехав вместе с сопровождающим из Пресновки к чудесному, светлому от берез леску, увидели мы с Майлиным на опушке обыкновенную казахскую юрту, а возле нее...

незадачливого нашего “компаньона”. Он обрадовался, да и мы не меньше, — кончились, слава Богу, многодневные мытарства, — предложил умыться с дороги и уж затем пригласил в свое летнее жилище.

День был жаркий, и, отдохнув, всей компанией мы поехали на ближайшее озеро. Накупались вволю в чистой его, соленой, дарящей бодрость воде и двинулись обратно. Возвращаемся, видим: рядом с шуховской юртой стоят еще две такие же. Оказалось, в Пресновке наш визит не остался незамеченным, и местные власти позаботились о нас и тем самым, конечно, об Иване Петровиче.

Так быстро промелькнуло несколько легких, беззаботных дней и ночей. Пишу “ночей”, потому что каждую из них засиживались мы у большого самовара за рассказами, песнями и чтением стихов чуть ли не до рассвета. Все мы были молоды, жизнерадостны, до самозабвения влюблены в литературу, поэзию, казачий и казахский фольклор и восторженно и нескончаемо делились восхищавшими нас духовными сокровищами. Но — самое примечательное: никто из нас даже не заикнулся о договоре, о сценарии, в те дни мы как-то сразу крепко сдружились, а друзья понимают друг друга без слов...

Но вот подошел срок расставанья. Простились так же сердечно, с легкой душой и добрыми шутивными напутствиями.

Следующая встреча с Иваном Петровичем была в Алма-Ате, после его поездки в Москву. Шухов с восторгом рассказывал об Александре Александровиче Фадееве как о настоящем человеке и писателе, говорил о его обаянии и отзывчивости. Кстати, годом позже они вновь встретились, долго беседовали, и Фадеев предлагал Ивану Петровичу перебраться в Москву насовсем. То же самое советовал ему и секретарь Союза писателей СССР Леонид Соболев. Но Шухов, хотя его литературная слава началась именно там, в Москве, в кон-

це концов решил все же навсегда связать свою судьбу с Казахстаном. Впрочем, и Москва, и Ленинград, и Омск, и Прибалтика, и древние среднерусские города, и, конечно, родная Пресновка занимали в уголках его щедрого, открытого сердца свое, сокровенное место...

Словом, почти вся наша жизнь прошла на виду друг у друга. Вспоминать можно многое. Наша творческая, литературная дружба всегда была задушевной, бесхитростной и еще, — как бы это сказать, — непоказной, интимной. Даже разговаривали мы между собой на каком-то особом, понятном только нам жаргоне, так что человек посторонний подчас не мог догадаться, то ли мы бранимся, то ли любим друг друга. Мы постоянно поддразнивали, “заводили” друг друга, но в делах серьезных ни разу в жизни не возникало между нами ни малейших разногласий.

Как-то довелось мне беседовать с членом Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана товарищем Д.А.Кунаевым. Динмухамед Ахмедович поинтересовался тогда, между прочим, кого можно было бы особо выделить из числа русских писателей республики. Я без колебания назвал И. П. Шухова. И, чтобы не быть голословным, сказал: “Вы, Димаш Ахмедович, читающий человек. Посмотрите “Новый мир” при Твардовском, “Простор” при Шухове, или сопоставьте журнал “Дружба народов” до Баруздина и при нем. Вот три настоящих Редактора”. Под этим определяющим словом — Редактор — я имел в виду многое и, прежде всего, высокий личный писательский авторитет, кристально чистое отношение к литературе, к гражданскому и художественному долгу.

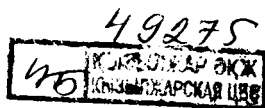
Если говорить об Иване Петровиче, для него при оценке литературных явлений не существовало каких бы то ни было побочных, узких, конъюнктурных соображений. Святому делу литературы служил он преданно, смело и самоотверженно. Думаю, многие молодые рус-

ские писатели Казахстана обязаны Шухову, давшему им путевку в творческую жизнь.

Что же касается меня, признаюсь: мало сказать, что более чем за сорок лет пребывания в рядах Союза писателей я был с Иваном Петровичем близок душевно и творчески. Скажу так: своей искренностью, добротой и оригинальностью он вносил, как говорили в старину, божественный дух дружества — дружбы чистой, благородной, той, что не знает ни зависти, ни корыстного расчета. Поэтому рядом и вместе с ним всегда столь хорошо дышалось и работалось. Знаю по собственному опыту, в частности, по опыту совместной нашей с Шуховым работы над полнометражными документальными фильмами о Советском Казахстане, которые в сороковые и пятидесятые годы по нашим сценариям снимали в содружестве с казахстанскими кинематографистами известные московские кинорежиссеры Роман Кармен, Лидия Степанова, Леонид Кристи.

Лучше всего, пожалуй, характеризуют Шухова как писателя и человека его книги — “Горькая линия”, “Пресновские страницы”. В них с наибольшей полнотой отразились неповторимые черты его дарования, его духовного мира. И, отмечая, что он довольно много и плодотворно переводил на русский язык вещи казахских писателей, в том числе и мои, хочу вовсе не в упрек, а напротив — в похвалу Ивану Петровичу сказать, что, на мой взгляд, все-таки не переводная работа, а собственное, оригинальное творчество было его родной, неотъемлемой писательской стихией. Он был, что называется, писатель до мозга костей, талант милостью божьей и потому обладал счастливой способностью мыслить по-своему и только по-своему, по-шуховски, выражать эти мысли.

Более полувека вращался он в большом литературном мире, в котором был своим человеком; как член правлений Союза писателей СССР и просто жадный до



жизни, любознательный художник, нуждающийся в постоянном накоплении новых впечатлений, регулярно ездил в Москву, встречался со своими старыми знакомыми — Фадеевым, Соболевым, Эренбургом, Тихоновым, Шолоховым и другими виднейшими мастерами пера. Словом, связи у него были большие, но он никогда ими не кичился.

Случалось не раз; во время значительных, союзного масштаба, литературных событий мы оказывались в столице вместе. И бывали счастливы, если гостиничные наши номера находились, как и квартиры, по соседству. Так, помню, вышло и в дни очередного писательского пленума зимой 59-го, когда снова повезло нам поселиться рядом, на одном этаже нашей любимой уютной гостиницы “Москва”. Здесь же остановился тогда и Сабит Муканов.

Как-то поздним вечером втроем спустились мы в ресторан с весьма скромным намерением — утолить жажду боржоми. Дело шло к закрытию, зал опустел. И вдруг — глядим: откуда ни возьмись появляется Шолохов, а с ним — сотрудник “Правды” Кирилл Потапов. Михаил Александрович был в приподнятом настроении и, увидев нас, почти так же, как некогда Фадеев, с душой воскликнул: “Казахи мои, казахи!” Мы тоже просияли, и я про себя отметил, сколь обрадовался неожиданной этой встрече Шухов, который, я знал, очень любил “казака”, свято относился ко всему, что бы ни выходило из-под его пера и, приезжая в Москву, всякий раз перво-наперво принимался его разыскивать.

Впрочем, этот сюрприз оказался в тот вечер не единственным. Только сели все вместе за стол, заказав кое-что нашему знакомому, все понимающему официанту, как из дальнего конца закрытого уже ресторанный зала к нам с радостными восклицаниями подошла целая группа слегка возбужденных, приветливо улыбающихся людей. Конечно же, это тоже были братья-писатели,

и какие! Мирзо Турсунзаде, Гафур Гулям, Самед Вургун... Пришлось нашей солидной компании рассестись за длинным банкетным столом. И как же чудесно, весело, дружно попиروвали мы тогда до самой глубокой ночи! Острили, что собрался у нас “маленький президиум”. В самом деле, тут был почти полный состав президиума писательского пленума!

Я сидел как раз между двумя “казаками” (так они сами называли друг друга) — Шолоховым и Шуховым — и слышал, что кто-то справился у Михаила Александровича о его творческих делах, а он вместо ответа показал на Ивана Петровича: “Вот лучше у него спросите — он сейчас в зените, пишет...” И в самом деле, Шухов был тогда на подъеме, его прекрасные художественные очерки о целине печатались в “Правде”, “Сельской жизни”, других центральных газетах и журналах.

Расставаться никак не хотелось, и мы с Шолоховым и Потаповым поднялись в номер к Ивану Петровичу и только уж оттуда все вместе отправились провожать Михаила Александровича по давно знакомым светлым от снега и огней, непривычно безлюдным московским улицам...

Об Иване Петровиче мог бы я вспоминать бесконечно. О наших встречах, поездках, о совместной литературной работе. О серьезных и шуточных беседах, взаимных дружеских розыгрышах. Только нелегкое это дело — говорить в прошедшем времени о том, кто для тебя по-настоящему близок и невосполним. Он остается в моей памяти живым — дорогой мой земляк и друг, мой милый, беспокойный сосед...

ИВАН

или когда видно доньшко души

На книге “Горькая линия”, выпущенной КазОГИЗом в 1949 году, он написал своим ясным, четким почерком: “Мите и Ал. Яковл. Снегиным — на память о самом светлом и теплом огне, который горел когда-то, ради нашей дружбы, под крышей Вашего дома”. На другой книге с тем же названием, переизданной в Москве десять лет спустя, он оставил такую надпись: “Мите Снегину — как память о нашей бурной юности,— с давней любовью”.

Бурная юность...

Теперь, спустя сорок с лишним лет, я не могу вспомнить день и место нашей первой встречи, благословенный час нашего знакомства. Вероятнее всего, произошло это событие в редакции журнала “Литературный Казахстан”, а может быть,— в КазОГИЗе. Хорошо помню — процесса узнавания не было. Как будто бы мы с детства знали друг друга. И вот вновь — долгожданная встреча.

— Митя!

— Иван!

Обаяние, вызываемое простотой обращения, обнаженная доверительность, незамутненная искренность, когда видно доньшко души,— вот что покорило меня тогда в авторе нашумевших романов “Горькая

иния” и “Ненависть”. И как-то так случилось само собой, что с первых дней знакомства я стал его называть Иваном, Ваней, а не Иваном Петровичем. В общении с ним иначе было нельзя. Спустя годы я пойму: это обусловлено талантливостью натуры. Чем выше талант, тем естественней чувствуешь себя рядом с ним. В свою очередь такая щедро одаренная природой натура жадно тянется к людям. Иван был чертовски талантлив, он был на гребне литературной волны, среди сильных, могучих пловцов. Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Федор Панферов... И он — Иван.

Иван любил стихи, любил читать и слушать. Глубоко, прямо-таки трепетно. И понимал поэзию — глубоко и трепетно. А сам писал прозу. Он в ту пору и не заикался, что тайне сам пишет стихи. Но поэзию, повторяю, любил.

Эта любовь еще теснее сблизила нас. Порой мы не смыкали глаз до рассвета над томиком Пушкина, Тютчева, Пастернака, Анны Ахматовой. Порой вспыхивали споры. Я любил Николая Тихонова, любил Эдуарда Багрицкого. Тихонова он называл рассудочно-холодным. С Багрицким примирился, читал с чувственной нежностью и признательностью:

В густой бородач ударяет бурун,
Скумбрийная стая играет,
Низовый на зыби качает кавун —
И к берегу он подплывает...
Конец путешествию здесь он найдет,
Окончены ветер и качка,—
Кавун с нарисованным сердцем берет
Любимая мною казачка...
И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое.

Позднее он принял и Тихонова. Помог случай. Шла война. Фашистская авиация бомбила — методично и

сокрушительно — Лондон и Ковентри. Об этом в наших газетах писали скупое. Изредка в журнале “Огонек” помещались фотографии сбитых “юнкеров” и тоже со скупым нейтральным комментарием... Однажды я получил письмо из Ленинграда — от Рождественского. В нем были еще не опубликованные стихи Николая Тихонова, старательно переписанные рукой Всеволода Александровича: “Мы свой урок еще на партах учим, но снится нам экзамен по ночам”. Я был потрясен этими стихами, разыскал по телефону Ивана и не переводя дыхания прочитал их в трубку. На противоположном конце провода воцарилась минута, нет, не молчания, а характерного шуховского сопения, выдававшего высшую степень его душевного волнения. Наконец возглас:

— Ты где? Сейчас приеду... должен увидеть своими глазами!

И приехал. И читал... читал: “Мы свой урок еще на партах учим...” И волновался:

— В отличие от читателей мы плохо знаем своих поэтов... небрежно относимся к современникам — собратьям по перу. Даже высокомерно. Одни, видите ли, для нас мелки, другие — трескучи, третьи — заумны. А вчитаешься, — душу переворачивают.

От неприятия к приятию у талантливых натур расстояние короче вершка. Так произошло с Иваном в тот день. Впрочем, приятия и неприятия оставались. В прозе его кумирами были Бунин, Хемингуэй, Андрей Платонов, Михаил Шолохов. Помнил на память целые страницы “Тихого Дона”. Сдержанно относился к Всеволоду Иванову и Леониду Леонову. Тщетно было выпрашивать — почему... почему?

— Сам не знаю.

Это не было кокетством. Он действительно не знал. Душа не принимала — и все тут! Надо было долго общаться и близко сойтись с Иваном Петровичем, чтобы

хоть в малой мере постигнуть суть его приятий и неприятий. Мы упивались стихами Леонида Мартынова:

Молчи, казак!

Протри глаза!

Не выйдешь ты из-под аресту,

а то и выдерут лозой,—

Как смел полковничью невесту

назвать сержантовой козой!

Или:

— Он был курчавый, как араб!

— Он был ревнив. Поэты пылки!

— Его убить давно пора б!

— Он яд развел в своей чернилке!

А когда начался новый Мартынов, Иван, слушая его стихи, в лучшем случае отмалчивался. Чаще взрывался:

— Ну что это такое... где же тут поэзия?

Поостыв, принимался бормотать невнятно — в оправдание ли своей непонятливости, или нового направления в творчестве маститого земляка-сибиряка — о голубом, розовом и других периодах в искусстве Пикассо.

— Допускаю... Но с Пушкиным такого не могло произойти.

Однажды я спросил Ивана:

— Как ты пишешь?

Он недоуменно пожал плечами и, будто стесняясь, растерянно обронил:

— Сажусь за стол и пишу.— И вдруг прикинулся простаком.— У тебя вот здорово про Анненкова сказано: “Рубить и рубить, пока сталь не устанет!” Откуда ты взял?

Я опешил.

— Само пришло.

Иван довольно хмыкнул:

— Само.

И это надо было понимать так: у писателя все получается само собой, если работаешь неуемно и жадно и на вопрос дотошного критика — где вы проживаете? — можешь просто ответить: а живу я в станице Пресновской, слышали про такую?

Долгое время он почитал Паустовского, было время — разочаровался в нем, потом — любовь к писателю возвратилась.

— Бывает же мода — на наряды, на вещи, на идеи. Бывает мода и на писателей. Вон, например, Бенедиктов, когда мода на него пришла, Пушкина затмил.

— Но Паустовский...

Иван горестно помолчал.

— У него остался “Дождливый рассвет”. Это не мало.

— У тебя “Ненависть”.

— Не знаю... И — хватит об этом... хватит.

Как теперь сказали бы, он заводился с пол-оборота. Без видимой связи принимался поносить родное мое, ни в чем не повинное Семиречье. Опять доставалось горам, речкам и травам.

— Дуреют в жаре, а духу от них никакого.

В такие минуты возражать ему было бесполезно. Он так возбуждался, что самый нелепый вымысел оборачивался действительностью, в которую он свято верил, и тут уж ничего нельзя было поделать. Да и не надо было делать: Иван, я догадывался, замыслил побег в иную, плоскостную зону его снедает тоска по Москве, по России... И он уезжал.

Возвращался радостный, полный впечатлений от столичных встреч, в голове родились смелые замыслы. Однажды рассказал:

— Побывал на Родине Есенина. Мать поила чаем с вишневым вареньем, а я грустил: самый лучший наш поэт, национальная гордость, а его не издают, в печати о нем не говорят. И мать будто подслушала мои мыс-

ни. Не горюй, говорит, Ваня: мой Сергей скоро пойдет, на Руси страсть как почитают его. И, благословив, проводила меня спать в амбар — там Сергей свою “Анну” писал.

И он взобрался на сеновал под железной кровлей. Не спалось. Осаждали сердце стихи. К тому же налетела гроза. Порывистый ветер заламывал ветви молодых вишен. И вишни, отягченные зрелыми плодами, как-то странно стучали по кровле. И ему казалось — с минуты на минуту на сеновал мог взобраться Сергей. От этого предчувствия Ивану, по его словам, становилось не по себе, сквозь трепетный шум листвы слышался голос поэта:

Ах, эти вишни!
Ты их не забыла?
И сколько было у отца хлопот,
Чтоб наша тощая
И рыжая кобыла
Выдергивала плугом корнеплод.
Отцу картофель нужен.
Нам был нужен сад.
И сад губили.
Да, губили, душка!
Об этом знает мокрая подушка
Немножко... Семь...
Иль восемь лет назад.

Вишни сохранились у амбара. Они странно стучали мокрыми плодами о его мокрую кровлю, гнали сон, и в голову приходили горькие думы о судьбе российского скандального пиита и о своей не скупой на радости и печали судьбе. Он и не заметил, как прошумела гроза, сквозь рваные клочья туч пролился лунный свет, пахнуло свежестью влажного луга, раздался чистый, как звон бубенцов, бесшабашный голос:

Где-то за садом несмело,
Там, где калина цветет,
Нежная девушка в белом
Нежную песню поет.
Стелется синею рясой
С поля ночной холодок...
Глупое, милое счастье,
Свежая розовость щек!

Свой взволнованный живописный рассказ Иван заключил не менее взволнованно:

— Такой луны, такого неба я прежде не видал! Хан-дра моя улетучилась. Потянуло за стол — писать... писать...

И он писал. Роман “Родина”. И, сдаётся, ему нравилось то, что выходило из-под его пера, потому что не раз и не два у меня на квартире среди ночи раздавался телефонный звонок, и в трубке слышался знакомый шуховский продох.

— Митя, послушай: “Все тут было, как в песне...”

А я, слушая Ивана, думал: не из той ли есенинской ночи перекочевали на страницы нового его романа самые задушевные лирические картины милой ему природы, чувства и переживания героев, вызванных к жизни рукой мастера, их трепетная тревожная любовь, в которой они горели не сгорая. А теперь, спустя годы и годы, я думаю: вот такое общение с крупной, щедро одаренной личностью и является ни с чем не сравнимой и ничем не заменимой школой для молодого писателя. Дорожить этим надо смолоду и всю жизнь.

Главной обязанностью и призванием художника Иван почитал живую связь с трудом и жизнью своих современников и земляков. Он жил среди народа и для народа. Активно, счастливо. Когда по воле партии началось революционное преобразование казахской целинной степи, Иван надолго перебрался в родной ему

край, безвыездно жил среди хлебопашцев, механизаторов, строителей, секретарей райкомов партий и председателей сельсоветов. Вместе с ними вбивал в промерзшую землю первые колышки, по ранней ростепели прокладывал первую борозду, по осени собирал первый ценный урожай. Первыми начали публиковаться в центральной и республиканской периодике его пахнущие живительным полыньком и загаром здоровых людей живописные очерки о воистину героическом житье-бытье первоцелинников.

Всегда бывает приятно и интересно (чего тут скрывать) услышать о себе, о близком тебе человеке заслуженную похвалу со стороны. Как-то счастливый случай столкнул меня на улице с Канышем Имантаевичем Сатпаевым. День был на исходе, и президент Академии наук республики, завершив многотрудные дела, шел домой. Он был в легкой безрукавке, ворот расстегнут, красивая голова искрилась от черненого серебра седины, на ногах белые парусиновые туфли — дань тогдашней моде. Мы были знакомы, давно знакомы. И встречались не так уж редко — на собраниях, заседаниях, конференциях и банкетах. Но оставались только знакомыми. Здравствуйтесь... добрый день... как ваше здоровье... благодарю... до свидания... всего доброго. Словом, между мной и выдающимся ученым с мировым именем дистанция была огромного размера. Я вежливо поклонился ему, намереваясь пройти стороной, но Каныш Имантаевич с ходу заговорил о Шухове.

— Удивительно талантливый писатель наш Иван Петрович. Колоритный язык, неповторимые красочные мазки и какая любовь к человеку, к его труду, к родной природе.

Я с удовольствием читаю его целинные очерки, с нетерпением жду появления в газетах новых. Надо обладать истинно народным дарованием, чтобы так писать. Понимаете: я не только слышу запах степной по-

лыни, я вижу приишимскую степь, улыбаюсь, как близкому знакомому, русому парню-комбайнеру, ощущаю на своих ладонях тепло и вес обмолоченного им зерна. Не побоюсь сказать, что из всех пишущих ныне о поднятой казахстанской целине Шухов самый интересный и яркий. Многие из тех, кто познакомится сегодня с его очерками, захотят связать свою судьбу с нашей хлебной целиной.

Много похвал, высказанных в адрес Ивана, довелось мне услышать на своем веку. Но эта представляется мне самой щедрой, справедливой и желанной. Думаю, и сам он воспринял ее только так, потому что, когда я передал ему мнение Каныша Имантасвича о нем, Иван густо покраснел, хмыкнул довольно, вконец смутился и уже с вызовом сказал:

— Глупо признаваться, а я испытал сейчас чувство, сходное с тем, которое пережил при выходе в свет моей первой книги.

А переживания были радостные и сложные. Вот как об этом рассказал сам Иван:

“Весной 1931 года появилась в печати моя первая книга. В сущности, это был мой первый ученический опыт. Я говорю о романе “Горькая линия”. Кстати сказать, роман этот отвергли в одном толстом столичном журнале, и после долгих мытарств наконец он был принят к печати и издан в издательстве “Федерация”. Стоит ли говорить о том, сколько неповторимой радости, огромного волнения испытывал каждый из нас, писателей, при появлении в свет своего первого произведения? Книжка вышла. А хороша ли она? Нужна ли она читателю? Полезное ли дело сделал ты, молодой, неопытный автор? Что тебе скажет наша печать, наша критика?”

Как видим, у молодого неопытного автора, рядом с радостью по случаю выхода в свет первой книги, преобладая над этой радостью, всколыхнулось и утвер-

шло чувство зрелой гражданской ответственности перед народом за свой труд: полезное ли дело сделал ты... Не помню, чтобы он назидательно декларировал эту необходимую каждому истинному художнику ответственность. Она жила в Иване, была естественной и незримо повелевала им на протяжении всей его яркой, порою далеко не ровной творческой жизни. Известно, гладеньких дорог у писателя не бывает, как не бывает их у всякой богато одаренной натуры. Период громких удач сменяется тревожным застоєм, пасмурным молчанием.

Не хочу судить — все ли Иван отдал современникам, своему времени, или что-то унес с собой. Довольно книг, им созданных, которые жили, живут и будут жить долго-долго! И только их создателю до конца ведомо — каким трудом, каким умом, каким горением сердца добывалось это долголетие.

А то, что лежало на поверхности, мы все видели. Свои неудачи, например, он переживал тяжело. Становился раздражительным и нелюдимым. Скрытничал. Замыкался. Или, напротив, напускал на себя браваду. Ивану казалось, что ему удастся ввести нас в заблуждение, и мы помогали ему утвердиться в этом. Зато как он преображался, открыв вновь свежую и богатую золотую жилу! На его рабочем столе появлялись необъяснимо долго отбираемые аккуратные стопки бумаги... остро зачиненные простые и цветные карандаши и какие-то экзотические коробочки из-под них... вырезки из газет и извлечения из архивных документов... нужные книги. День, другой, неделю топтался он возле стола, примерялся, настраивался. Наконец наступал желанный миг. Теперь к нему нельзя было подступиться — ни по вечерам с ним, ни позвонить по телефону.

К великому огорчению, должен признаться: мы, молодые литераторы, по своему невежеству не дорожили такими часами и нередко вторгались к Ивану,

мешали работать. Он сердился, но отходил быстро, увлекаясь без огляда молодым застольем. И снова работал — увлеченно, с упоением...

Иногда он любил писать от руки — не шариковой ручкой, а простым пером, иногда споро стучал на портативной машинке, komponуя по-своему, по-шуховски, архитектуру абзацев и фраз, отчего страничка смотрелась красиво и читалась легко. На такой страничке, говорил Иван, сразу бросаются в глаза изъяны мысли, слога; пройтись пером по такой страничке — одно удовольствие. А нам-то казалось — красиво смотрится...

Однако, признавался он, не меньшее удовольствие испытываешь, работая с умным, тактичным, понимающим и принимающим тебя как литератора, непримиримым к твоим промахам и недостаткам редактором. Его глубинное виденье в равной степени относится и к лежащей на столе, еще теплой от твоего дыхания и твоей руки рукописи, и к художественным возможностям, которые таятся в тебе самом еще не раскрытыми.

— Я мечтаю поработать с таким редактором, как Юрий Лукин! — с завистью к счастливым в этом отношении авторам не раз восклицал он. — Он не навязывает свои варианты, он делает так, что ты воспламеняешься в работе, и там, где было тускло, фальшиво, находит свое место верное, крепкое слово, как находит свое место во вспаханной земле пшеничное зерно, брошенное в нее радетьельным селянином.

В своем творчестве Иван часто обращался к пахарю, к земле, достигая в изображении их вершин мастерства. Помните, как он нарисовал своего отца-сеятеля в обнаженно-искренней повести “Трава в чистом поле”?

“Твердой, уверенной, хозяйской поступью шел он по родной земле. И несуетными — по-царски торжественновластными были полетные движения правой руки, кото-

рой он щедро одарял из берестяного лукошка золотыми потоками зерна родимую, плодотворящую землю!

Чувствуя в эти минуты полную мою слитность со всем этим дивным, озаренным трепетным утренним светом миром, блаженно покачиваясь в седле, я не в силах был оторвать восторженно горящих глаз от шагающего впереди нас отца — красивого, сильного, помолодевшего человека!

Признаюсь. Я и поныне думаю, что это и был, наверное, самый счастливый, неповторимый, трижды благословенный день в моей, не скупой на радости и печали жизни...”

Таким сеятелем разумного, доброго, вечного видится мне Иван Шухов, мой милый, незабвенный Иван. Волшебные слова, щедро посеянные им на литературном поле нашего Отечества, будут давать плодотворные всходы в сердцах идущих вслед за нами поколений, как они давали всходы и жили, живут в сердцах его современников, в наших благодарных сердцах.

ПЕВЕЦ ПРОСТОРА

Из воспоминаний

Когда единым, всеохватным взглядом озираешь все созданное в литературе Иваном Шуховым за более чем полустолетие его творческой деятельности и хочешь выразить одним-двумя словами его писательскую характеристику, то на ум приходит емкое, многооттеночное определение: певец простора.

Рожденный на просторной земле казахов, “с молодых ногтей” влюбленный в неоглядный степной простор, Шухов обрел некую беркутиную зоркость: ему открылся не только простор земель, но и простор плацдарма, на котором шло (и идет) борение добра и зла, простор духовной деятельности людей, простор сильных, действенных характеров большинства его литературных героев, простор неукротимых страстей, тематический простор его самобытных книг, простор его незаурядного речетворчества, языковых исканий и находок.

Родная Шухову станица Пресновская была одним из звеньев цепи казачьих поселений от Урала до Иртыша и далее до устья Каменных гор (Усть-Каменогорска). Предки его поселились вместе с другими русскими переселенцами на целинных казахстанских землях в начале XVIII века, образовав станицу, ставшую звеном в этой казачьей линии, названной казаками “горь-

кой линией”. Это были очень своеобразные поселения, где, с одной стороны, казаки несли обязанность стоять на страже колонизаторской политики верхушки царской России, с другой стороны, крестьянствовать, показывать пример оседлости, земледелия, русских нравов. Русские казаки “Горькой линии” два столетия жили в тесном окружении казахов-степняков, много передали им, но немало и позаимствовали от них. Население “Горькой линии” было отмечено непохожестью психологии быта, уклада, обычаев, языка, особенно языка — сочного, исконно русского, но впитавшего в себя образность, восточный колорит, фольклорное богатство казахского языка.

Сделаю признание: уже при чтении первых произведений Шухова я подумал о причастности их автора к стихам. Прямых доказательств для этого вывода у меня тогда не было. Но проза Шухова была настолько поэтична, лирически окрашена, музыкальна, что я не сомневался: Шухов пишет или писал стихи. Позднее я узнал, что Шухов близок к поэту-казахстанцу Николаю Титову и дружит с земляком-казахстанцем, талантливым поэтом Павлом Васильевым. Рано ушедший из жизни Павел Васильев очень любил и ценил Шухова, о чем говорил московским шуховским близким знакомцам — поэтам Михаилу Исаковскому, Николаю Незлобину, Константину Алтайскому.

Вот что писал мне в 1937 году К. Алтайский: “Встретился с Павлом Васильевым, и тот сразу же спросил меня:

— Почему молчит Шухов? Хворает?

Я успокоил Васильева:

— Давно не видел Ивана Петровича. Но письма из Алма-Аты я получаю часто. Если бы Шухов заболел, мне бы написали.

Васильев отрывисто спросил:

— Знаешь, что больше всего люблю у Шухова?

—“Ненависть”, должно быть...

— Нет. Маленькие новеллы. В них он гранильщик самоцветов”.

Позднее я узнал, что еще в 1920-х годах омичи читали в своей газете “Рабочий путь” стихи некоего рабфактовца И. Шухова. Еще позже было установлено, что вмонтированные в шуховскую прозу стихотворные строфы — это не отрывки народных песен, не казачий фольклор, не записи неизвестных авторов, а стихотворная продукция самого Ивана Шухова. И, наконец, 27 октября 1968 года я читал и перечитывал в “Казахстанской правде” большой, почти на газетный лист, отрывок из поэмы Ивана Шухова “Комсомольская повесть”, напечатанный под названием “Тридцатые годы”. Поэма посвящена памяти Павла Васильева и полностью вошла в книгу Шухова “Родина и чужбина” под названием “Моя поэма”.

Раннему Шухову путь в поэзию был открыт без всяких скидок на периферийность и юношескую неопытность. Однако Шухов рассудил иначе и целиком посвятил себя прозе. В печати двадцатилетний Шухов появился во второй половине двадцатых годов в журнале “Деревенская молодежь” с рассказами “Перекресток дороги” и “В деревне Ольховке”.

В романе “Горькая линия” молодой, двадцатипятилетний Шухов впервые в русской литературе раскрыл жизнь, быт, историческую роль казачества в колонизаторской политике “белого царя” в казахских степях. Шухов с глубоким пониманием сказал читателю, что население “Горькой линии” — это этнически, социально, имущественно-экономически, правово-юридически неоднородное общество: тут и великодержавно-шовинистическая верхушка казачества — вернейшие слуги царя, капитала и церкви, и среднее казачество, не чуждое хлебопашеству и скотоводству, и пришлые купцы и прасолы, и переселенцы, впавшие в нужду и превра-

ившиеся в бездольных батраков. И все это, хоть и русское, но тысячами верст отдаленное от коренной России, в окружении кочевников-казахов, людей другой нации, веры, языка. Большую смелость проявил Шуров, написав роман “Горькая линия”, подняв литературную целину, выступив автором книги, где география оседствует с этнографией и историей.

Пересказать роман “Горькая линия” вкратце, конспективно, обнажив его сюжетные узлы, трудно, потому что он многослоен, многомерен, густо населен людьми с разными характерами, да и главная прелесть его — в языке, интонационном богатстве, в переливах и переплесках народного, самобытного, ярко-выразительного говора, где иногда тончайший речевой оттенок дает для понимания изображаемого больше, чем событийная фактура.

Вот, к примеру, начало романа, нечто вроде вступления, пролога или словесной увертюры.

Исконные жители станиц “Горькой линии”, казаки, отстрадав срок царской дозорной, пограничной службы, где-то там на рубежах с Поднебесной империей — гитаем, идут, проклиная осеннюю распутицу, в родные Палестины. Во главе этого казачьего отряда — почорински недовольный жизнью и судьбой есаул Стрепетов (мечтал стать открывателем новых земель, ученым-путешественником вроде Козлова или Потанина, ли работать в Генеральном штабе, а стал купринским фицериком в провинциальном Верном); ночевка в неолядной, беркутиной, сусличьей и сайгачной степи; котер — и у костра, конечно, тары-бары, разговоры, слово бы и будничные, бытовые, а на самом деле философские, жизненно-важные; происшествие: неизвестно от чего утопился казак; следствие, почти брезгливо проеденное есаулом Алексеем Стрепетовым; похороны; и нова степная дорога. Смысловая и эмоциональная нагрузка этой мастерски написанной прелюдии к роману разговорах казаков — нет, не только об утопленнике

Мишке Седельникове, — о жизни и смерти, о том, что им делать и как жить дальше. Шухов сочными мазками живописует казаков — Сударушкина, Бушуева, Трубоча. Что ни казак, то тип, что ни тип — характер. Серьезнейший по сути дела разговор, а слова — образные, иносказательные. Одних птиц упомянуто — орел, кукушка, ястреб, пустельга... И за каждым образом — глубокий социальный смысл.

В “Горькой линии” изображена жизнь не только русской казачьей станицы, но и казахского аула.

Чего стоит, например, сцена пьяной гульбы казаков, незаконно продавших за несколько ведер водки урочище, которым испокон веков владели скотоводы-казахи. Но в “Горькой линии” вскрыты не только вражда казахов и казаков, мошенничества, но и взаимопонимание и дружественные отношения русских батраков и казахских кедеев — байских пастухов. Явно отрицательное, активно непримиримое, вызывающее гражданский протест чувство к великодержавному шовинизму, органически-целостный, осознанный умом и согретый сердцем интернационализм Шухова был замечен и понят Горьким, когда после выхода в свет “Горькой линии” он писал Ивану Петровичу: “У вас хорошее, здоровое, революционное дарование, его необходимо расширить, углубить”.

Как уроженец казахской земли, Шухов, естественно, лучше и глубже знает и изображает казахов, хотя в его прозе мы встречаем и людей других национальностей, даже американцев. Критик Владислав Владимиров, верно отмечая у Шухова “сыновнюю любовь к древней земле казахов” и подчеркивая, что встреченные подростком Шуховым два казаха-подростка — Сабит и Габит — стали потом видными писателями Сабитом Мукановым и Габитом Мусреповым, “с которыми Ивана Шухова тесно связали многие годы большого творческого общения и дружбы”, — приводит трогательное по своей ис-

кренности и сердечности признание Шухова: “Но Чокан Валиханов! Эта давняя любовь и печаль моя. Это особая — с большой буквы — глава в пресновских страницах”.

Мы, казахи, признательны Ивану Шухову за его талантливые, добротные, проникнутые глубоким пониманием самой сердцевины произведений переводы на русский язык прозы Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина и других.

В статье Альберта Устинова “Писатель горьковской школы” приведено два высказывания Ивана Шухова. Вот взволнованные слова Шухова о цыганах, о цыганском наречии и песнях: “Несказанно тревожили, приводили в трепет, волновали меня и гортанные песни цыган Соколовского хора. Веяло от них дремучей древностью и в то же время — близким мне по духу — чем-то родным, нашенским. Седыми от ковылей степями. Мерцаньем далеких кочевнических костров в ночи. Печалью безлюдного полевого простора. И свободой. И волей. И горькой бесприютностью гонимого невесть куда перекати-поля...”

Обращаю внимание, что “нашенское” — это, в сущности, все казахстанское: ковыли, кочевничьи костры, перекати-поле и, конечно же, — простор, певцом которого Шухов является. А вот восторженно изложенное впечатление от напевной украинской мови: “Меня буквально заворожил, околдовал здешний говор. Певучий. Ласковый. Со смешинкой. Доверительный. Незлобивый. Язык этот так меня восхитил, что я даже удивился тому, что маленькие хохлята разговаривали промеж собою так же бойко и весело, как большие. И, конечно же, совсем свели меня с ума впервые услышанные мною в этих селах украинские песни”.

Чуткое ухо большого русского мастера художественного слова Шухова, естественно, воспринимает прежде всего звучание, музыку языка народа, к которому он приходит с открытой душой.

**ГОДЫ БЕЗ ОТЦА,
или РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Отрывок из документальной повести-эссе**

И земля,
Что вам стала пухом,
Нынче вроде
И та и не та...

Тут не всякие
Чтут вас ныне
За свершенные
Вами дела.
Ковылями, стеблями полыни
Степь
Следы ваши замела.

Иван Шухов. “Моя поэма”

И, наши имена припоминая,
Нас не забудут в новых временах.

Из отцовского письма.

Предисловие

Вообще-то, эти строки точнее было бы назвать иначе: появились они уже после того, как в материале была поставлена завершающая точка. Побудили же написать

“после-предисловие” некоторые замечания читателей, высказанные сразу по прочтении рукописи. С какими-то критическими суждениями считал возможным согласиться и внес соответствующие поправки, другие, показавшиеся несправедливыми или несущественными, оставил без последствий. Но — так или иначе — возникла потребность предварить повествование своего рода “пояснительной запиской”, попытаться дать комментарий относительно замысла работы в целом и разного рода частных.

Поводом “...Размышлений на перепутье” послужило предстоящее в 2006-м году столетие со дня рождения моего отца, писателя Ивана Петровича Шухова. Значительность этой даты обусловила довольно-таки солидный объем материала и плотную документальную насыщенность его содержательной фактуры.

С тех пор как писателя не стало, минуло уже без малого три десятка лет. За это время произошли огромные исторические события, названные “судьбоносными”. Распалась единая прежде великая страна, в которой жили и создавали свои произведения Шухов и его литературные ровесники — Шолохов, Серафимович, Панферов и другие писатели Горьковской школы.

Что касается Ивана Петровича, его литературным наставником был также замечательный сказочник, создатель знаменитой “Малахитовой шкатулки” Павел Петрович Бажов, вместе с которым ему, начинающему литератору, посчастливилось в конце 20-х годов прошлого века работать в “Уральской областной крестьянской газете”.

Последняя прижизненная шуховская книга “Пресновские страницы” вышла в Алма-Ате в 1975 году — менее чем за два года до кончины Ивана Петровича. Ко всем последующим публикациям творческого наследия — в Алма-Ате, Москве, Киеве — автору этих строк довелось быть причастным как секретарю Комиссии по

литературному наследию И.П. Шухова. Все посмертные издания были осуществлены в советскую эпоху, и лишь одна, последняя на сегодняшний день книга — “Избранное” — увидела свет в республиканском издательстве “Жазушы” в 1996 году.

Предыстория указанных публикаций, сопутствующие им обстоятельства, а также всевозможные хлопоты, связанные с увековечением памяти писателя, юбилейными датами и так далее — все это наглядно представлено в “Годах без отца...” в виде деловой переписки от имени Комиссии по литературному наследию с различными ведомствами и официальными лицами.

Наверное, можно согласиться с мнением, что подобное чтение вряд ли относится к разряду увлекательного. Исходя из чего, некоторые оппоненты считают обильное цитирование деловых писем излишним, полагая, что лучше было бы просто вкратце изложить суть той или иной проблемы. Но здесь — хочется сказать вот о чем.

Не всеми принимается во внимание такое обстоятельство. На литературной судьбе Шухова, осененной добрым напутствием Алексея Максимовича Горького — в отличие от Шолохова, Панферова и других писателей - существенным образом сказывался “географический фактор”, а именно то, что в Москве, где в начале 30-х годов вышли прославившие его имя романы, писатель бывал лишь временным гостем, а родился и постоянно жил по другую сторону российской границы, пусть, что называется, и в двух шагах от нее — в станции Пресновской Северо-Казахстанской области. И вдруг — просто-таки оглушительный успех в столице первых книг молодого, двадцатипятилетнего “чужака”, которого, кстати, знал и ценил не кто иной, как И.В. Сталин!

После смерти Горького в 1936-м году кое-кому из влиятельных московских функционеров очень хотелось вышибить “пришлого” дерзко-талантливого “провин-

циала” из литературы, а еще того лучше бы — из жизни. Но — не получилось... И — началась скрытая, растянувшаяся на годы и десятилетия — при жизни писателя и после его кончины — месть “обиженных” литературных тузов.

Нет, внешне — все выглядело как будто вполне благопристойно. В Москве время от времени выходили шуховские книги. В юбилейные даты Иван Петрович был отмечен наградами — двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов. В 1959 году включен в состав возглавляемой А.Б. Чаковским делегации советских писателей и редакторов для поездки в Соединенные Штаты Америки...

Но — в то же время: беглое упоминание шуховских романов, а зачастую умолчание о них в литературоведческих монографиях, статьях, учебных пособиях. Куцая библиографическая справка в Краткой литературной энциклопедии. Предание глухому забвению кинокартины “Вражьи тропы”, снятой до войны на “Мосфильме” по роману “Ненависть” с участием известнейших актеров советского кино... И — вдобавок ко всему — полнейшее игнорирование творчества писателя со стороны прежде Всесоюзного, а ныне Центрального радио и телевидения: ни одной радиопередачи почти за полвека, а по ЦТ — вообще за всю его историю!

Эта деструктивная тенденция отторжения, вытеснения Ивана Шухова из российского культурного пространства стала особенно очевидной после распада Советского Союза. Один только частный, но весьма красноречивый пример: исчезновение статьи о писателе в последних выпусках Большого энциклопедического словаря, хотя в издании БЭС 2000 года эта статья еще наличествовала... Судя по всему, в Москве никак не переводятся желающие причислить Ивана Шухова к категории “практически забытых литераторов” - именно такую малозавидную характеристику дала недавно

“Литературная газета” известному поэту и прозаику Сергею Маркову — шуховскому одногодку — в статье к 100-летию поэта Леонида Мартынова, общего друга их с Шуховым литературной юности.

В рассуждении всего сказанного, работа Комиссии по литнаследию со дня основания была направлена на закрепление памяти писателя в противовес усиливающимся с течением времени негативным тенденциям. А память писателя живет прежде всего в его книгах. Поэтому, естественно, первойшей заботой был выпуск Собрания сочинений И.П. Шухова, вышедшего спустя три года после его кончины. Мне выпала многотрудная миссия — быть составителем издания и автором комментариев. Не стану распространяться о сложности и напряженности подготовительной работы к выпуску пятитомника, общий объем которого составил без малого сто пятьдесят печатных листов. Скажу о другом.

Выпуск Собрания сочинений был предусмотрен постановлением правительства республики об увековечении памяти И.П. Шухова. Издательский график не давал, что называется, времени на раскачку, и, чтобы уложиться в срок, я как сын и секретарь Комиссии взялся за дело. Тома — один за другим — были сданы в производство точно в обусловленные графиком числа.

Главное, что пятитомник, которого писатель при жизни так и не удостоился, все-таки вышел и — на нынешний день — являет собой самое фундаментальное собрание произведений И.П. Шухова.

Иван Петрович Шухов прожил свое сложное, небезтревожное время достойно и, как написал ему в связи с шестидесятилетием со дня рождения Юрий Казаков, мог смело сказать каждому: “Попробуй-ка с мое!”

Потому, несмотря ни на какие гримасы и каверзные “вызовы века”, хочется верить, что Иван Шухов и впредь не станет “практически забытым”. Не бывать забвению — пока помнят и чтут его соратников, кори-

фесв русского слова: Максима Горького, Павла Бажова, Павла Васильева, Михаила Шолохова, Константина Паустовского, Андрея Платонова, Илью Эренбурга, Александра Твардовского ...

Вот о чем хотелось предварительно сказать непредубежденным, не утратившим вкус к настоящей, классической литературе читателям в преддверии вековой Шуховской годовщины.

Начало литературного пути молодого, 25-летнего Ивана Шухова было — после выхода в 1931 году “Горькой линии” — осенено дружеским напутствием А.М. Горького, который в своем письме высоко отозвался об этом первом его романе. Спустя год появилось следующее крупное произведение — “Ненависть”, также встретившее одобрение великого писателя, заинтересованно следившего за творческим становлением новых молодых талантов. (Замечу в скобках: не в пример нынешнему расхристанному времени, когда чрезвычайно редко встретишь литераторов, которые проявляли хотя бы мало-мальский интерес к творчеству своих коллег. Так, мой ровесник, модный представитель московской интеллектуальной элиты Вячеслав Пьецух в одном из своих интервью признался, что мало читает современных писателей, поскольку полностью поглощен собственным сочинительством. И еще — что скептически оценивает некоторых русских классиков, в частности, Максима Горького, которого считает “посредственным литератором”. Смелое утверждение! Но — лично я не стал бы аплодировать, а спросил: если бы В. Пьецух был так же, как Горький, постоянно до предела загружен организационной, редакторской работой, чтением с карандашом в руках огромного количества книг и рукописей молодых, начинающих авторов, перепиской с ними, —

смог бы он создать равные горьковским мощные, эпические художественные полотна? Но вот, извольте: “посредственный литератор”. Чего только ни скажешь ради красного словца!)

В архиве И.П. Шухова бережно хранились подлинники трех горьковских писем, которые впоследствии, после кончины писателя, были переданы в Институт мировой литературы. Кроме того, неоднократно высказывался Горький о шуховском творчестве в своих статьях, выступлениях, письмах, адресованных писателям, издателям, критикам... “У Вас хорошее, здоровое, революционное дарование...” — эта ключевая характеристика вдохновляла и согревала отца на протяжении всего почти полувекового, напряженного, неровного, не одними только победами отмеченного творческого пути.

Не менее внимательно следил Алексей Максимович за первыми заметными шагами в литературе Михаила Шолохова и Федора Панферова, автора нашумевшего в ту пору романа “Бруски”, который (роман), несмотря на резкую критику языковых погрешностей, был — так уж сложилось — наряду с “Поднятой целиной” и “Ненавистью” — причислен к наиболее значительным произведениям о “социалистическом переустройстве деревни”. Любопытно, что автор “Брусков” — “крепкий парень”, как охарактеризовал его Горький, сам весьма постарался придать своему творению канонический статус, посодействовав выпуску по горячим следам хвалебной книжки о себе. Об этом сообщал Горький в письме Сталину, впервые опубликованном “Литературной газетой” в 1993 году.

Как бы там ни было, еще при жизни А.М. Горького — а затем на протяжении десятилетий — в отечественном литературоведении и критике, когда речь шла о книгах “на деревенскую тему”, как правило, неизменно фигурировала привычная романная триада: “Поднятая целина”, “Бруски”, “Ненависть”. Роман “Нена-

нись” еще при жизни Горького выдержал десяток изданий в Москве многотысячными тиражами.

После смерти Горького в 1936 году, кстати, по многим причинам, чрезвычайно тяжелом для отца — он даже называл этот год “проклятым”, — в его жизненной судьбе произошли серьезные, кардинальные перемены. Он покинул Москву и вернулся в свою родную Пресновку.

Здесь он, будучи членом Союза писателей СССР со дня основания (его членский билет за номером 733 был подписан М. Горьким), в силу географической удаленности, оказался на периферии, в стороне от текущих союзписательских дел и от издательств. Но несмотря на это, тогда же, в 36-м, в московском Гослитиздате вышел его новый роман “Родина” и начал работать над “Действующей армией”, романом, увидевшим свет в 1940 году в Алма-Ате.

Во время Великой Отечественной войны Иван Петрович редактировал пресновскую районную газету “Ударник”.

После длительного перерыва, в конце сороковых годов, алмаатинский Казгослитиздат выпустил переработанный роман “Горькая линия”; в 50-м и в 52-м здесь же были опубликованы книга очерков “Облик дня” и однотомник “Избранное” с предисловием Сабита Муканова.

На середину пятидесятых годов приходится всплеск творческой активности писателя, связанный с развернутыми в стране новыми аграрными преобразованиями — освоением целинных и залежных земель. Оказавшись в эпицентре этих событий, Иван Петрович по горячим следам написал книги очерков “Покорители целины” и “Золотое дно”, вышедшие одна за другой в Москве в 55-м и 57-м годах. Тогда же, в 57-м, московское издательство “Советский писатель” опубликовало переработанный роман “Ненависть” с иллюстрациями Ираклия Тоидзе.

Таким образом, после выхода “Родины”, Шухов не издавался в столице почти двадцать лет!

Следующий плодотворный этап в жизни Ивана Петровича, длившийся одиннадцать лет, связан с казахстанским литературно-художественным журналом “Простор”, главным редактором которого он был с 1963 по 1974 годы. А вообще с этим изданием, под разными названиями выходившим в Алма-Ате с 1933 года, Шухов сотрудничал в течение всей своей писательской жизни, много лет являлся и членом его редакционной коллегии.

Будучи до прихода к руководству Ивана Петровича вполне провинциальным по духу и сути, малотиражным изданием “Простор” начал быстро меняться к лучшему, в нем стали публиковаться, наряду с местными авторами, широко известные писатели из Москвы, Ленинграда, других союзных республик. Этому немало способствовал, помимо всего прочего, и личный писательский авторитет Шухова в столичных литературных кругах, его давнее знакомство и дружба со многими крупнейшими литераторами страны.

Впрочем, деятельность Ивана Шухова как главного редактора “Простора” — тема, заслуживающая отдельного, обстоятельного разговора. Здесь же, думаю, достаточно сказать, что на просторовских страницах при Шухове были впервые опубликованы знаковые, как теперь принято говорить, произведения, по цензурным соображениям не допущенные к печати в Москве. В их числе — повесть Андрея Платонова “Джан”, рассказ Юрия Казакова “Нестор и Кир”, роман Вениамина Каверина “Двойной портрет”; ставшие ныне классикой стихи Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама; пьеса Бориса Пастернака “Слепая красавица”; воспоминания Александры Александровны Есениной “Брат мой Сергей Есенин” и многое-многое другое.

О том, в какой атмосфере приходилось в те годы отцу работать, редактировать “Простор”, особенно пос-

те вынужденного ухода Твардовского из “Нового мира”, можно наглядно судить хотя бы по такому памяtnому, характерному эпизоду. О нем рассказала в беседе с корреспондентом “Литературной газеты” 24 марта 1993 года Лариса Миллер — “поэт гармонического стихотворения”, как назвал ее знаменитый Арсений Тарковский. На вопрос, почему ее долго не печатали, Л.Миллер заметила, что, наверное, больше нигде в мире поэзия, литература не были окружены таким вниманием высшей власти. И в подтверждение своих слов припомнила одно событие двадцатилетней давности. “В мае 1973 года, — свидетельствует Лариса, — журнал “Простор” опубликовал большую мою подборку. Правда, она вышла с “белыми пятнами” — некоторые стихи были сняты в последний момент. И после публикации главный редактор журнала И.П. Шухов получил выговор от Кунаева: “Что это за декадентку какую-то печатаете?”. На этом бы дело и кончилось, но в конце июня “Литгазета” дает обзор за подписью Литератор, где весьма положительно сказано об этой моей публикации. А еще через две недели в той же “Литгазете” письмо из Караганды под рубрикой “Читатель недоумеваает”. Читатель недоумевал, почему Литератор похвалил стихи, где и “тягостная мрачность”, и “фатальная обреченность”, и т.п. Что же случилось с “Литературкой”? Вскоре я познакомилась с критиком Е. Сидоровым, который представился: “Здравствуйте, я Литератор. Вы знаете, что я за вас выговор получил?” А случилось вот что. Шухов пришел с “Литгазетой” к Кунаеву и сказал: “Ваш городской не на том перекрестке свистнул. Вы меня ругали, а центр хвалит”. Тогда Кунаев позвонил в Москву председателю Идеологической комиссии ЦК КПСС Демичеву. Тот, как говорят, затребовал журнал, после чего самолично устроил телефонный разнос “Литгазете”. Письмо читателя “из Караганды” сочинили в редакции. В результате мою

книгу “Безымянный день” вынули из издательского плана редподготовки. Вот так о нас “заботились и душили в объятиях”.

К этому рассказу могу только от себя добавить, что так, в основном, оно и было, за исключением некоторых неточностей. Насколько я знаю, отец к Кунаеву с “Литгазетой” не ходил, а позвонил помощнику секретаря ЦК партии Казахстана С.Н. Имашеву и попросил передать те самые слова насчет “городового, свистнувшего не на том перекрестке”.

Спустя несколько месяцев после этого отец, к которому, по его признанию в одном из писем, “давно подбирали ключи”, был, подобно Твардовскому, от журнала отлучен.

Здесь же, в “Просторе”, в 70-73-м годах были опубликованы и самые значительные — после романов — произведения Ивана Петровича: автобиографические повести “Колокол”, “Отмерцавшие марева”, “Трава в чистом поле”, составившие цикл “Пресновские страницы”, который дал название его последней прижизненной книге.

Таким образом, если ретроспективно проследить динамику и географию изданий шуховских книг, увидевших свет при жизни автора, вырисовывается такая картина. Первые романы Шухова, как уже было отмечено, очень активно издавались в довоенные годы в Москве. Позднее, кардинально переработанные, они выходили там с продолжительными интервалами; самыми заметными среди этих книг были вышедшие в 1969-70-х годах в “Худлите” в едином оформлении и полиграфическом исполнении “Горькая линия” и “Ненависть”.

В Алма-Ате же после войны были осуществлены наиболее весомые, полномасштабные издания: “Избранное” (1952) с предисловием Сабита Муканова, двухтомник 1956-х, 1958-х годов и, наконец, “Избранное” (1962-

1963) в четырех томах с предисловием М. Шаталина. Сюда вошли романы “Горькая линия”, “Ненависть”, “Действующая армия” и книга очерков “Родина и чужбина”. Завершил прижизненную галерею шуховских книг упомянутый выше солидный том “Пресновские страницы”, удостоенный в начале 77-го года, за три месяца до кончины писателя, республиканской государственной премии.

После скоропостижной кончины И.П. Шухова 30 апреля 1977 года мне по сыновнему долгу и как секретарю Комиссии по литературному наследию (ее почетным председателем был земляк и друг отца Габит Махмудович Мусрепов) выпало быть причастным ко всему, что было связано с именем отца: увековечению памяти, посмертным изданиям, юбилейным датам...

Прежде всего, неотложной, трудоемкой и кропотливой работы потребовала подготовка Собрания сочинений в пяти томах. Выпуск его значился одним из пунктов специального постановления Правительства Казахстана, опубликованного 4 мая вместе с пространным некрологом, подписанным руководством республики во главе с Д.А. Кунаевым. Некролог опубликовала и “Литературная газета”, выходявшая тогда огромным, не сопоставимым с нынешним тиражом.

Пяти томник возлагался на издательство “Жазушы”, где уже в 1979 году мне, вместе с В.К. Ермаченковым, удалось опубликовать полновесную — сорок авторов (к сожалению, две трети из них к настоящему времени ушли из жизни), хорошо иллюстрированную книгу “Воспоминания об Иване Шухове”. Не будь ее, многие ценнейшие факты, свидетельства творческой и жизненной биографии отца, безвозвратно канули бы в Лету...

Вспоминается здесь и один довольно-таки характерный казусный эпизод. Когда мемуарная книга готовилась к печати, литературная редакция Казахского радио выдала в эфир передачу из цикла “Творческие пор-

треты”. Впервые она транслировалась в марте 79-го, была удостоена высокой оценки художественного совета и включена в фонд постоянного хранения. По просьбам радиослушателей передачу спустя два месяца повторили. Об этом я по горячим следам написал (под псевдонимом) в газету “Вечерняя Алма-Ата” статью “Живой голос Ивана Шухова”. Ее напечатали 23 мая под рубрикой: “Из последней почты”.

Вел передачу мой коллега по составлению книги Владимир Ермаченков. Здесь прозвучали голоса соавторов готовящегося сборника — Дмитрия Снегина, Абдильды Тажибаева, Юрия Герта, Андрея Кияницы. Особое место в этом ряду занимала фонограмма отца. Об этом в статье говорилось: “Невозможно без волнения слышать живой голос Ивана Петровича. В фонде Казахского радио хранится уникальная запись, сделанная в 1968 году, когда отмечалось 100-летие со дня рождения А.М. Горького. Шухов прочитал перед микрофоном свои воспоминания о встречах и беседах с великим пролетарским писателем. И теперь прозвучал фрагмент этой записи, ставший, безусловно, одним из кульминационных моментов всей радиоконпозиции. Речь во фрагменте идет о встрече с женой Горького — Екатериной Павловной Пешковой...”

А следом шли строки: “Выполненная высококачественно в студийных условиях, единственная магнитная запись сохранила для нас и для потомков шуховский голос, по-писательски страстный, неповторимый”.

И вот — на следующий день мне на работу позвонил редактор “Вечерки” и, сухо поздоровавшись, сказал, что статью мою напечатали. Я стал было благодарить, но мой собеседник, очевидно, раздраженный начальственным внушением, выдержал паузу и, выполняя указания кого-то из идеологических надзирателей, официальным тоном — хотя накануне в редакции мы беседовали довольно любезно — довел до моего сведе-

ния руководящее “мнение”, оставшееся, впрочем, анонимным. Заключалось оно в том, что слова об уникальной магнитной записи, сохранившей для потомков голос писателя, якобы, чрезмерны, так как имеют право быть применимыми только по отношению к ... “вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину”!

Оспаривать руководящее “мнение” считалось, разумеется, делом абсолютно недопустимым...

Между тем, в словах об уникальности шуховской фонограммы не было никакого преувеличения. Отец действительно не любил киношных и телевизионных камер, микрофонов, и тогда, в 1968-м, журналистам удалось затащить его в радиостудию едва ли не силой. Честь и хвала им за это: иначе бы...

Есть, правда, еще одна, вот уж поистине раритетная пленка с шуховским голосом, но эта запись была не студийной, а любительской. Делалась она тоже в конце шестидесятых в подмосковном Серебряном бору, на даче отцовского друга Михаила Петровича Светличного. Незадолго перед тем отец завершил работу над очень для него дорогим и необычным — стихотворным — произведением, которое он назвал просто — “Моя поэма” и посвятил памяти друга своей молодости Павла Васильева.

Супруга Светличного — хлебосольная Ольга Сергеевна накрыла в саду стол, и, уловив вдохновенный настрой гостя, хозяева стали просить его почитать что-нибудь из поэмы. Здесь как-то ненароком появился с портативным “Репортером” сын Светличного — Юрий, который тогда работал корреспондентом Московского радио. Стараясь быть незаметней, он пристроил магнитофон на краешке стола...

Позже ту запись Светличные прислали отцу в Алматы, а мне выпало счастье послушать ее только когда отца уже не стало. Любительский характер записи, конечно, сказался на качестве: звук был неровным, вре-

менами чересчур приглушенным, кое-где вкрадывались посторонние шумы. Да и читал отец хрипловато, с перебивками: одолевала одышка. Ко всему, запись по каким-то причинам была оборвана на полуслове. Но — при всех огрехах — слава Богу, что она есть, и спасибо за это судьбе.

Так и долежала у меня та бобина до нынешних “постсоветских” времен. Правда, теперь, воспользовавшись услугами одного опытнейшего звукорежиссера, четверть века проработавшего на некогда знаменитой Всесоюзной фирме грамзаписи “Мелодия”, я, говоря профессиональным языком, наконец-то перенес запись со старой, малонадежной пленки на современный носитель информации — компакт-диск.

Этот же специалист помог и еще в одном важном деле: переписал на CD фонограмму сюжета из киножурнала “Советский Казахстан” за 1964 год. В этом сюжете Шухов, как главный редактор “Простора”, снят в своем рабочем кабинете вместе с сотрудниками и творческим активом журнала — прозаиками, поэтами, критиками: Николаем Ановым, Андреем Кияницей, Олжасом Сулейменовым, Александром Лембергом, Виктором Мирогловым... А поводом к киносюжету было то, что “Простор” стал тогда печатным органом не только Союза писателей республики, но и ЦК комсомола Казахстана. С чем Иван Петрович и поздравлял в своем кратком дружеском слове присутствующих.

Вернусь к пятитомнику. Главная сложность при его подготовке — эту работу мне, как составителю, выпало делать в одиночку — заключалась не только в весьма внушительном совокупном объеме текстового материала. Предварительно пришлось без промедления — темп диктовал издательский график — решить одну довольно деликатную задачу, преодолевая при этом своеобразный психологический барьер. Дело в том, что Иван Петрович в начале 70-х написал, хотя, очевидно, все же не по-

дал в издательство, заявку на свой пятитомник. В этой заявке, названной на шуховский манер нестандартно — “Прощение”, отец, распределив по предполагаемым томам произведения, особо оговорил, что романы “Горькая линия”, “Ненависть” и “Поединок” он намерен издать в их первоначальной редакции. Ведь именно в том виде произведения в свое время читал и оценивал Алексей Максимович Горький, а рукопись романа “Поединок” (впоследствии “Родина”) с его правкой хранится в Институте мировой литературы, куда автор передал ее по просьбе работников института.

Судьбе, однако, было угодно распорядиться таким образом, что задуманного Собрания сочинений, на которое писатель подобного масштаба, вместе с М. Шолоховым, А. Серафимовичем, Ф. Панферовым и другими стоявший у истоков советской литературы, имел полное право, — этого Собрания он при жизни так и не увидел.

Психологический барьер для меня здесь возникал из-за необходимости решить ответственную задачу: следовать ли плану, изложенному в отцовском “Прощении”, или публиковать поздние, неоднократно издававшиеся в Москве, Алма-Ате, Новосибирске редакции. Пришлось в итоге остановиться на последнем, приняв к сведению доводы работников издательства о том, что публикация первоначальных текстов наряду с каноническими допустима лишь в рамках самого полного, академического Собрания сочинений. Ничего не оставалось, как утешить себя мыслью, что, дойди дело при жизни отца до реального воплощения авторского замысла, вряд ли бы он стал настаивать на своем необычном решении. Хотя — как знать...

В 1981—83 годах пятитомник вышел в свет, достойным, массовым тиражом.

Могут сказать: не одну же только высокую прозу писал Шухов. Да, были у него и “заземленные” очерки, порой — даже перегруженные производственной цифирью — жизнь заставляла напрямую откликаться на злобу дня, — но, как писатель, он славен все-таки тем, что отмечено ранее.

... Не суждено было увидеть отцу и очередное издание “Ненависти”, выпущенное московским “Современником” в престижной серии “Библиотека российского романа” — вскоре после кончины автора. Тогда же в Алма-Ате увидели свет оперативно отпечатанные с матриц двухсоттысячным тиражом автобиографические повести.

Но после кратковременного печатного “бума” наступил продолжительный и, как теперь, уже из нового века, видно, похожий, необратимый спад.

21 февраля 87-го, после долгих хлопот, писем в “инстанции”, в Москве, в Центральном доме литераторов, наконец-то состоялся вечер в честь 80-летия Ивана Шухова. Там выступила писательница И. И. Стрелкова, бывшая алмаатинка, давно переехавшая в Москву. А спустя год с небольшим, в апреле 88-го Ирина Ивановна порадовала неожиданным известием. Она писала: “В “Просторе” в январе 1972 г. был напечатан очень славный отрывок из “Пресновских страниц”. Сейчас в издательстве “Детская литература” выходят сборники о детстве и отрочестве, куда уже вошли Пришвин, художник Петров-Водкин и др. Отрывок, опубликованный в “Просторе”, в издательстве понравился. Но я не знаю, входили ли воспоминания о детстве в Собрание сочинений Ивана Петровича. К Вам такая просьба — прислать, не откладывая, либо то, что вышло под заглавием “Трава в чистом поле” (уже упомянутый номер “Простора”), либо Вами составленные страницы детства”.

Относительно того, что специально для детей отец не писал. Однако о том, что он мог бы великолепно де-

чать это, лучше всего, на мой взгляд, говорят его обстоятельные письма, адресованные мне, совсем еще малому — дошкольнику, потом ученику начальных классов. Отцу нравилось тогда называть меня по-особенному — УЛЮШКОЙ. Для наглядности приведу два письма, посланные из Пресновки мне, второкласснику, в августе 1948 года. Поясню только: Ерке и Ашу — мои городские друзья- сверстники; слово “баушка” — не опечатка: почему-то именно так любил его произносить и писать отец. Так же, как обращаться ко мне на “вы”.

“Улюшка моя хорошая, здравствуй!

Мы, как условились с вами, так я и делаю. Пишу вам это письмо на второй же день после вашего отъезда, в 11 часов утра. А вы мне написали? Напишите обо всем. О том, как вы летели, и хорошо ли чувствовала себя в самолете наша маменька?

Мы вернулись домой в пять часов вечера. Нас встретил возле Пресновки большой ураган с грозой и ливнем. Дома сразу стало очень и очень плохо нам без вас. Сам посудите, с кем же мне теперь поиграть в войну и из чьей рогатки стрелять?! Даже купаться без вас расхотелось. Вовы и Гены я больше около нашей усадьбы не вижу. Гешка все-то еще живет на рыбалке. Сегодня опять очень жарко.

Видели ли вы, Улюшка, Ерке и Ашу? Передали ли им наш привет? Встретила ли вас на аэродроме баушка и чем она вас угощала и потчевала? А Вася, наверное, большой уже вырос — с Зильду или поменьше? Напишите нам обо всем по порядку. А можно и безо всякого порядка — как выйдет. Это все равно. Без вас с маменькой нам тут скучно и плохо, а без ваших писем и совсем — ни туды и ни сюды.

Как вы заплакали, мои хорошие, когда сели в самолет, так и мы тоже готовы были разреветься, да только неловко было плакать нам среди чужих, взрослых лю-

дей. Ведь они ничего бы не поняли. Зато весь день, всю дорогу мы думали только про вас, мои хорошие. А когда приехали домой, вошли в наш опустевший дом и увидели вашу рогатульку, которую вы позабыли на терраске, то тут мы обратно едва не заплакали.

Напишите, Илюшка, нам письмо обо всем. А мы скоро к вам прилетим. Через месяц. Еще покупаемся там с вами в Головнушке. Маменька нас выкостерит за это. Но может быть она и не узнает. Мы искупаемся, высушимся на солнушке и придем домой сухими.

Обнимаем вас крепко, крепко. И целую 1555 раз!

Ваш Папенька”.

Или вот еще — от 26 августа.

“Здравствуй, моя хорошая Улюшка!

Получил я ваше письмо. Вижу, что писать вам его не очень хотелось. Писали вы его потому, что маменька вас заставляла. Но вы мне пишете только тогда, когда вам самим захочется написать. И когда станет совсем без нас скучно. Делайте так, как делаю я. Я никогда ничего и никому не пишу, если мне не хочется писать. Так лучше.

Мы живем ничего. Вася ловит в саду мышей и складывает их в прихожей, как дрова в поленницу. Он их не ест, а просто истребляет как вредителей, по своему кошачьему долгу. Раз называется котом, значит, обязан ловить мышей. А есть их насильно его никто не заставит. Гуси живы и просят тебе поклониться. Они совсем перестали ходить на озеро. Им там наверно тоже стало скучно без ребятишек. А ребятишек на озере нет. Чаек тоже нет. Скворцы уже улетели. Синички тоже собираются улетать. Совсем, совсем скоро осень. В саду стало очень тихо и грустно. Никого около меня нет: ни вас с маменькой, ни твоих сельских товарищей, ни скворцов, ни синиц. Ни Вовы, ни Гены, ни Ванюшки я не вижу. А колесянка твоя жива. Я ее прибрал в сарай. Пусть

себе лежит до весны в сухом и надежном месте. Она нам еще пригодится.

Почему ты не написал мне о том, как вы летели в самолете? Напиши, если будет охота.

Ашушке передавай от меня привет каждое утро. Вместо “здравствуй, Ашушка”, ты говори: “Тебе, Ашушка, обратно привет от папы!”

До свиданья, моя хорошая.

Ты мое сердечко,

Эх, выйди на крылечко,

Без тебя тоскую я давно-о-о!!!

Известный ваш Папенька”.

Немало их было, таких писем....

...Я тут же выслал тексты всех трех повестей, а в благодарность за участие послал Ирине Ивановне книгу воспоминаний, о которой она тепло отозвалась в письме от 23 февраля 89-го. В нем она сообщала: “Знаю, что Вы работаете вместе с “Детской литературой” над “Пресновскими страницами”. Иван Шухов входит в том, где художник Кузьмин, Пантелеймон Романов и воспоминания Татьяны Луговской. Компания хоть куда. За этими сборниками “Детской литературы” уже гоняется книго-торговля, требует миллионных тиражей. Сборники выходят двух типов: “Отрочество” и “Школьные годы”.

Слава Богу, с этим изданием дело пошло по плану, без осложнений, и, помню, летом 90-го, зайдя в книжный магазин на проспекте 50-летия Октября (бывшей улице Ташкентской), я оказался очевидцем того, как распаковывали и ставили на полки увесистые, большого формата, в плотной кремовой обложке тома с крупной надписью: “Отрочество” и заглавием вошедших в него произведений. Вскоре из “Детской литературы” пришло мне на дом несколько бандеролей с отличным изданием, выпущенным — пускай не миллионным, но тоже весьма внушительным — двухсоттысячным тиражом.

Теперь это кажется поразительным. Тем более, что и “худлитовский” двухтомник, и “Отрочество” с “Пресновскими страницами” оказались последними шуховскими изданиями в Москве — за считанные месяцы до внезапного распада всего и вся: Советской страны, литературного пространства, издательского дела, системы книгораспространения...

Североказахстанцы уважали и любили отца за доброе, участливое к ним отношение, за его внимание и заботу. Он оставил долгий и светлый след в душах простых станичников. Об этом один из них, житель села Усердное Пресновского района, бывший работник промартела А.И. Черепанов рассказал в 1986 году на страницах областной газеты “Ленинское знамя”. Воспоминания записал литератор Альфред Пряников. Алексей Иванович, потерявший зрение в раннем детстве, впервые услышал отца в начальные дни войны, когда тот, приехав из Пресновки на проводы на фронт новобранцев, обратился к ним с напутственным словом. Потом отец, с тех дней и до конца войны редактировавший районную газету “Ударник”, часто приезжая в Усердное, не только интересовался местными делами — в колхозе остались лишь старики да женщины, — но и сам помогал колхозникам, чем мог.

Тяжелой военной осенью сорок первого отец зашел на колхозный ток. Здесь вместе с напарницей работала мать Алексея. Она рассказала об этом сыну: “Подходил к нам Иван Петрович, мы с Марфой веялку вдвоем крутили. Так он взял мой крюк и говорит: “Отдохните немного”, а сам давай крутить. Потом завтоком подошла, Валентина Кусова, он ее попрекнул: “Что же вы двух женщин на веялку поставили, тяжело ведь — не женская это работа”. А та отвечает: “Людей же не хватает, Иван Петрович, всю, и женскую, и мужскую работу делать приходится...” Однако на другой день на-

шла-таки Кусова выход из положения: пригласила на ток двух инвалидов — Самсонова да Метреева”.

“Наш писатель” — называли Шухова земляки. Его статьи — своеобразный отчет о длительных поездках к воинам-сибирякам на Северо-Западный фронт: “Дыхание Родины”, “Боевые подруги”, “Казачи — люди русские!”, “Дым Отечества”, — печатавшиеся в областной и районной газетах, не были для читателей обычной публицистикой: они встречали в них имена своих родных, знакомых, друзей, сражающихся с врагом. Алексей Иванович помнит, как их читали дома вслух мать с сестрой, а вечерами — избач Нюся в сельском клубе.

Как-то, рассказывает Черепанов, Иван Петрович приезжал на общее собрание колхозников. Но из села сразу не уехал. Рано утром пошел на конеферму, где трое пожилых колхозников запрягали лошадей ехать за сеном, и вызвался помочь им. Поехали на трех подводах. И те, с кем вместе ездил тогда Иван Петрович, с восхищением рассказывали впоследствии, как сноровисто он взобрался на скирду, как ловко сбрасывал вниз, раскидав снег, охапки душистого сена прямо на стоящие внизу сани-розвальни.

—Так весь день и проработал с нами. Жилистый мужик, ничего не скажешь, настоящий казак, даром что писатель, — говорили они, одобрительно крутя головами.

“Я как раз был у соседей Богданчиковых, — пишет Алексей Иванович, — когда Иван Петрович вернулся из этой поездки — тяжело дышавший, устало утиравший полотенцем, поданным заботливой хозяйкой, пот с лица, но донельзя довольный проведенным в труде днем”.

И после войны отец всячески помогал жителям старинного казачьего села. При его содействии осенью 1947 года здесь появилось электричество и радио. Был заложен и вскоре начал плодоносить большой сад, которо-

му Иван Петрович посвятил строки в своем очерке “В далекой нашей станице...”: “А сад в этом некогда захудалом казачьем поселке Усердном и в самом деле – чудо! Первый и пока единственный колхозный фруктовый сад в нашем районе... Любуясь в минувшую осень прелестными юными яблонями этого сада, дыша сладким и тонким его ароматом, столь непривычным и странным среди милых сердцу горьких запахов осенней степи, я думал как раз о том, что хорошо бы донести когда-нибудь до читателя всю новизну и красоту этих ощущений”.

С особой теплотой и благодарностью вспоминает А.И. Черепанов об участии моего отца в собственной его судьбе, отягощенной ранней потерей зрения. Летом 1959 года отец посоветовал земляку (Алексей с 53-го года жил в Пресновке) поехать на лечение в Одессу, в знаменитую глазную клинику Филатова. Не просто посоветовал: самолично отвез его с сыном на своей “Победе” на станцию Мамлютка, купил билеты на поезд, дал на дорогу денег...

Вернувшись в Пресновку, Алексей Иванович сразу же сообщил отцу о результатах поездки. Они, к сожалению, были неутешительными: болезнь оказалась сильно затянутой. “Жаль, конечно, — посочувствовал Иван Петрович и, видимо, угадывая мое подавленное настроение, предложил вдруг: “Поедем-ка со мной в твое Усердное, поди, давно не бывал там, развеемся, ухи поедим...”

“Стремление сделать доброе людям, чем-то помочь им было одним из основных качеств Ивана Петровича Шухова. И он ничуть не жалел часов и даже дней, оторванных от напряженной творческой работы, если видел, что усилия его приносят хоть какую-то пользу землякам. Именно поэтому так тепло, с глубоким уважением и благодарностью вспоминают сейчас о большом писателе, замечательном человеке североказахстанцы”.

Об этом же: “Хороший, душевный человек был наш Иван Петрович”, — говорят помнящие его пресновские старожилы в телефильме “Дым Отечества”, снятом в 1987 году. Жаль только: их, старожиллов, становится с годами все меньше и меньше.

Продолжая разговор о посмертных изданиях, назову последнюю на нынешний день книгу отца — “Избранное”, вышедшую в 1996-м, году его девяностолетия, в издательстве “Жазушы”, том самом, где выходили и пятитомник, и многочисленные прижизненные шуховские издания. Выпуск этой книги значился одним из пунктов правительственного постановления в связи с юбилейной датой. Несмотря на это, в реальности дело оказалось куда как не простым: к тому времени издательство работало уже на совершенно иной, рыночной основе. И, придя к молодому директору, чтобы обговорить конкретные вопросы, я услышал из его уст немало удивительного. Прежде всего директор завел разговор о том, что книгу можно издать только при условии предварительной оплаты. От нее же будет напрямую зависеть и тираж. Кроме того, по новым правилам, издательство не обязано заниматься распространением книжной продукции. Это теперь — забота самого “заказчика”.

Пришлось срочно созваниваться и списываться с чиновниками из Северо-Казахстанской областной администрации, на которую постановлением возлагались основные юбилейные “мероприятия”.

Когда из обладминистрации сообщили, что гарантируют оплату одной тысячи экземпляров, в издательстве соответственно определили тираж “Избранного” — три тысячи. Такой мизер, несопоставимый с “доперестроечными” массовыми тиражами, теперь, можно сказать, сделался нормой. Тогда же я, не скрою, был просто ошарашен и подумал: как реагировал бы отец, если дожил бы до такого катастрофического облома?

“Избранное”, куда вошли “Горькая линия” и автобиографические повести, невзирая на “юбилейный статус”, отпечатали в более чем скромном оформлении, на серой газетной бумаге.

Как было условлено, треть тиража пошла прямым назначением в Петропавловск. Почти половину оставшегося количества выдали мне в качестве вознаграждения за составительство, а тысяча с лишним экземпляров осталась в распоряжении издательства. Какова их судьба, не имею понятия.

Ловлю себя на том, что заметки мои подчас отступают от хронологической последовательности и, прося за то прощения, возвращаюсь к разговору о разного рода нерадостных открытиях последнего времени, так или иначе касающихся личности и творческого наследия отца.

В начале 2002 года по телеканалу “ОРТ-Казахстан” показывали старые фильмы казахстанских кинематографистов. И однажды в программе на очередную неделю я увидел название, заставившее сердце забиться сильнее: “Вражьи тропы”. Дело в том, что об этой картине, снятой в 1935 году на “Мосфильме” по “Ненависти” (съемки велись в Казахстане, с участием казахского актера Хакима Давлетбекова), я слышал неоднократно, но в свои шестьдесят с лишним лет мне ни разу не довелось ленту посмотреть. И вдруг — такой неганданный сюрприз! Почему он принес не радость, а огорчение, скажу позже.

Впервые кое-какие отрывочные сведения о “Вражьи тропы” я почерпнул из материалов, которые мы вместе с В.Ермаченковым отбирали для книги воспоминаний. Так, в мемуарах поэта и прозаика Андрея Алдан-Семенова я не без волнения прочел об их встрече с отцом в далеком 33-м году.

“Еще он сказал, что закончил сценарий по роману “Ненависть”:

— Скоро начнутся кино съемки. Думаю назвать кинофильм “Вражьи тропы”.

— Доволен сценарием? Это же твой первый опыт в кино, — спросил я.

Он коротко и печально усмехнулся.

— Киносценарий — особый жанр, — ответил неопределенно. — А вот песенка в кинофильме, по-моему, удачна.

— Позарастали стежки — дорожки, — напел он мотив песенки, вскоре ставшей популярной в стране”.

Кстати, отмечу попутно: в 83-м году в журнале “Октябрь” печаталась повесть Юрия Нагибина “Рахманинов”, где я с щемящим чувством прочел вот какой эпизод: 1938 год. Последняя встреча в Париже Рахманинова с Шаляпиным. Шаляпин говорит о своей близкой смерти и просит Рахманинова исполнить его последнюю волю — чтобы, когда закончится война, тот “вернулся в Россию, упал мордой в траву и отплакался за нас двоих.

— Я ухожу, Федя.

— Нет, это я ухожу.

Уже в дверях Рахманинов вдруг услышал тихое, как шелест травы:

— Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом-травой,
Где мы гуляли, милый, с тобою...

Они расстались навсегда”.

Нет, не зря, видно, говоря о фильме, отец печально усмехнулся. Он словно предчувствовал, что судьба “Вражьи тропы” окажется сложной и драматичной. А начиналось все успешно. Прозаик Ольга Кожухова, например, вспоминает довоенную Москву “с бульварами в кипении шумной зеленой листвы, с грохотом трамваев, с движением многолюдных толп — и на стене вы-

сокого, многоэтажного дома рекламный щит, на котором ярко, броско изображены огненные глаза Эммы Цесарской, а рядом контрастно, — удаляющаяся фигура с обрезом в руках. И надпись, идущая наискосок: “Вражьи тропы”. Ольга Константиновна, тогда школьница, уже прочитала роман, по которому был поставлен фильм, но “все равно с величайшим интересом, сидя в темном зале, следила за жизнью героев, волновалась, когда они страдали, смеялась и плакала, когда смеялись и плакали они”.

Из мемуарной статьи друга и земляка отца — прозаика, очеркиста Андрея Кияницы “Ветры нашего лета”: “Еще большую силу обрели герои “Ненависти” после ее экранизации. Фильм “Вражьи тропы”, созданный по этому роману Московской студией, пользовался огромным успехом. В картине снимались знаменитые актеры — Цесарская, Ладынина, Абрикосов...”

В Петропавловске фильм долго не сходил с экрана. Посмотреть его приезжало много сельских жителей, для которых герои картины были очень близки и понятны. Несколько раз мне приходилось слышать разговоры о том, что Шухов своих героев не выдумал, а только описал. Назывались даже села, где живут эти герои, и, понятно, каждый раз села назывались разные”.

Важные подробности вспоминает и другой земляк отца — прозаик и переводчик Асхад Хамидуллин в опубликованной, к сожалению, уже после кончины автора статье “Феномен таланта”: “Фильм широко рекламировался по стране. Помню обложки журнала “Огонек” тех лет с броскими фотомонтажами эпизодов и героев “Вражьи троп” с обязательным указанием: по роману И.Шухова “Ненависть”. Исполнителями главных ролей, кроме Э.Цесарской (Фешка), были тоже знаменитости: Н. Плотников (Епифан Окатов), А. Абрикосов (Иннокентий), Б.Тенин (Роман Каргополов), дебютантка в кино М.Ладынина (Линка) и другие. Шу-

хов галантно ухаживал за актрисами, покупал им на “боны” подарки в золотодобывающем Степняке. Появились и грампластинки с записями песен из этого фильма — “Веселей шагай”, “Позарастали стежки-дорожки”. Последняя стала подлинно народной”.

Тому, что песня стала народной, удивляться не приходится. Ведь имени отца, как автора слов, на грампластинке не было. Курьезный факт. В вышедшем в 1957 году в Москве сборнике русских народных песен, который показывал мне А. Хамидуллин, “Позарастали стежки-дорожки” значилась как “популярная народная песня 20 века романсового склада”, записанная впервые Т.С. Шумиловой в...1945 году в Тульской области. Вот каков удивительный казус!

В архиве сохранилось письмо, помеченное 10 ноября 1935 года. Написала его землячка отца, жительница Петропавловска Мария Андреева-Долгорукова. Письмо простое, бесхитростное, на нынешний взгляд, может быть, слишком прямолинейное. Но, мне кажется, стоит его воспроизвести — ведь это непосредственное свидетельство зрителя: “Ваня! Вчера смотрела “Вражьи тропы”. Картина замечательная! Недаром смотрят ее по 3-4 раза. Много слышала и слышу хороших отзывов. В картину действительно вложено все, вся сочность периода построения первых колхозов в Казахстане. Да и не опишешь всего того, что эта картина дает. Ясно одно, что картиной восхищаются все, все в один голос говорят о Вашей славе...”

Но слава, известно, вещь слишком капризная. По существу, с выходом картины совпало начало тяжелой, драматической полосы в жизни отца.

Вот, пожалуй, все, что я знал о “Вражьи тропы”. Правда, в середине 90-х годов из Дома-музея в Пресновке сообщили, что удалось заполучить копию ленты из Госфильмофонда в Белых Столбах под Москвой.

Скажу и вот о чем. И.П. Шухов, как крупная творческая личность, был по правительственной брони освобожден от призыва в действующую армию. В звании майора (отец, помню, выговаривал его по-своему: “ма-и-ор”), редактируя все военные годы местную районку, он писательским словом вдохновлял воинов-сибиряков на разгром врага. Но — не надо думать, что все это время он отсиживался в станице, как, должно быть, представляется автору статьи в “Культуре”. Напротив, отец дважды выезжал к землякам на Северо-Западный фронт во время жестоких боев — как руководитель делегации Северо-Казахстанской области. И эти поездки (первая из них пришлась как раз на зиму сорок первого — сорок второго) заняли в общей сложности около полугода.

В одном из писем той поры отец сообщал: “Эта моя поездка на фронт была исключительной. Я был свидетелем потрясающей битвы за Н. Трижды сам попадал под чудовищную бомбежку... Около двух недель жил под артиллерийским обстрелом. Словом, многое испытал, передумал, перечувствовал.”

Немногим известно и такое: с началом войны Иван Петрович отдал для нужд фронта свою новую автомашину “эмку” и впоследствии увидел ее однажды зимой на переднем крае: на ней, перекрашенной для маскировки в белый цвет, ездил начальник интендантского управления 57-ой армии.

Заметки мои близятся к завершению, и — согласно привычному канону кольцевой композиции — я возвращаюсь к истокам своих “размышлений на перепутье”. Тем более, что сейчас, когда пишу эти строки, заявленная в начале тема становится все более актуальной. Сужу по “Литературной газете”, которая за два месяца до памятной даты открыла серию публикаций, посвященных шолоховскому юбилею. И открыла весьма достойно — большой, на целую полосу, статьей под рубрикой “Эпоха”. И в этой статье встретилось то, чего

и, признаюсь откровенно, так долго — несколько лет! с волнением ожидал. И, значит, ожидал не напрасно: перекличка вышла, на мой взгляд, поистине символической. Но прежде мне надо вернуться к давней, 2001 года, публикации той же “Литгазеты” — в связи с 95-летием отца. Называлась та статья “Есть еще Шухов...” и сопровождалась фотоснимком, запечатлевшим Михаила Шолохова, Ивана Шухова и Павла Кузнецова, секретаря и переводчика Джамбула. Снимок был сделан осенью 1954 года в Алма-Ате, когда проходил Третий съезд писателей Казахстана.

Я помню ту погожую, светлую осень, с которой — даже не верится — прошло уже больше полувека! Помню уютный двухэтажный корпус цековского дома отдыха посреди большого яблоневого и грушевого сада. Ветви яблонь сгибались почти до земли под тяжестью огромных красновато-глянцевых плодов — некогда знаменитого чуть ли не на весь мир, а теперь уже давно исчезнувшего алма-атинского апорта.

И этот скромный дом, и прогретый по-летнему жарким солнцем сад были окутаны грустноватой, полупризрачной лилово-сиреневой дымкой, как на полотнах французских импрессионистов. Заседания съезда проходили в городе, а здесь, вдали от шума и суеты, в живописных предгорьях делегаты и гости жили, отдыхали, запросто, без официоза встречались и беседовали друг с другом.

Отец приехал тогда на съезд из Пресновки и тоже поселился здесь, в небольшом номере, в окно которого заглядывали ветви яблони. После заседаний он заезжал за мной и вез в этот, показавшийся мне прямо-таки райским, заповедный уголок, куда съехались знаменитые литераторы из разных республик.

По утрам, перед отъездом в город, писатели выходили к машинам, ожидавшим возле корпуса на асфальтированном пятачке под сенью высоченных дубов.

И вот однажды, после завтрака в небольшой, по-домашнему уютной столовой, мы с отцом и его старым другом Павлом Кузнецовым вышли к тому самому пятчку, и тут я в первый раз увидел Шолохова. Невысокий, одинакового с отцом роста и в одинакового покроя светло-сером костюме, он курил, стоя чуть в сторонке, возле декоративного гипсового вазона, возвышающегося на облупившемся (тогдашний цековский антураж!) кирпичном постаменте. Эти детали и сохранил сделанный кем-то из фотокорреспондентов на фоне “колоритного” вазона снимок. Мне же навсегда врезалось в память как, завидев отца, Михаил Александрович, оживившись, приятельски воскликнул: “Ну, как дела, казачок?” Думаю, одна только эта фраза может сказать о многом...

В статье “Литгазеты”, которую иллюстрировал тот давний снимок, акцент был на деятельности отца как главного редактора “Простора” — журнала, который, наряду с “Новым миром” Александра Твардовского находился под пристальным приглядом цековских идеологов во главе с “серым кардиналом” — Михаилом Сусловым. Их борьба с журнальным вольномыслием завершилась снятием в 1971 году Твардовского с поста главного редактора. А вскоре после этого Александр Трифонович скончался.

Отец, с огромным уважением относившийся к Твардовскому, откликнулся на трагическую весть “Словом прощания”, опубликованным в “Просторе”. Журнал под шуховским руководством, несмотря на усиливавшийся идеологический пресс, продолжал новомирскую линию. Но Сулов, пенявший Кунаеву: “Зачем нам еще ваш тамошний второй “Новый мир”?” все-таки “дожал”, и отца весной 74-го так же внезапно освободили от редакторства. И прожил он после этого, тоже, как Твардовский, недолго.

Так вот, в статье С. Баймухаметова о редакторской деятельности отца встретились поразившие меня слова: “Существует легенда, что после разгрома “Нового мира”, перед смертью, Твардовский говорил: “Ничего... есть еще Иван Шухов, есть еще журнал “Простор””.

То, что это было сказано Александром Трифоновичем в последние сроки, на исходе земного бытия, представляется мне особенно трогательным и символичным.

Точными, лаконичными строками заканчивается та читгазетовская статья: “... говорили, что Шухов “зарвался”... Тут уж, простите, решать было самому Шухову. И если не “зарываться”, то зачем быть “главным”? Кто, кроме “зарвавшихся” Твардовского и Шухова, опубликовал в те годы то, что было опубликовано? Вот потому-то после них остался не перечень титулов и наград. После них осталось литературное время. Время “Нового мира” и время “Простора”.

В лучшие для журнала времена был кодекс чести, неписанные моральные установки, которых в свое время старались придерживаться просторовцы, для кого совесть была, по выражению Юрия Осиповича Домбровского, “орудием производства писателя”. И тон в этом задавал главный редактор.

Из статьи Домбровского “Памяти Шухова”: “Каждое воспоминание о большом человеке, которого ты знал и любил, есть рассказ о твоей собственной жизни. Ведь роль Ивана Петровича в моей жизни была чрезвычайная...

Очень трудно сказать, сколько же Иван Петрович проработал в “Просторе” (тут нужны довольно сложные вычисления). Был автором, членом редакционной коллегии, главным редактором...

В трудные годы (а они были!) он ехал — нет, кидался в свою Пресновку, и она всегда выручала его. Возвращался он ... стряхнувший с себя — как сухую дорожную пыль — все беды и неприятности... А вот к

людям он относился не так. К сожалению, тут мои возможности обрезаны. Обрезаны им самим”.

И теперь — прошу внимания — Юрий Осипович свидетельствует:

“К сорокалетию журнала, как и многие старожилы, я написал воспоминания. Он прочел их и решительно перечеркнул страницы, посвященные ему и его работе с начинающими писателями... “Нет. Так не годится. Это что же такое? Про покойника, что ли, пишете?” — рассердился он.

...Это была моя первая стычка с Иваном Петровичем. Все остальные кончались смехом”.

Не менее полезно было бы нынешним самохвалам прочесть и воспоминания просторовца шуховского призыва Юрия Герта, которые так и названы “Школа Шухова”:

— Позвонил Иван Петрович... и я сделал то, чего никогда не делал, что нелепо, неуместно, невысказано попросту было — рядом с Шуховым... Тут как-то само собой выплеснулось, я не успел проконтролировать, удержать себя, — не успел и заговорил — об этой сцене, главе с Чиграем, о языке, которым написана эта — да не только эта — глава...

Но я лишь начал... Едва разобрав, о чем я, он оборвал меня:

— Не надо... Я этого не люблю...

Голос у него был строг, непреклонен.

“Этого”... Чего — “этого”? ... Лести, может быть?... Так я — льщу? Я, значит, по его мнению...

Он дал мне все это выпалить и уже оттаявшим несколько, потеплевшим тоном повторил прежние слова:

— Все равно... Я не люблю... Этого...

И такой еще эпизод.

“Как-то вечером, — пишет Герт, — он позвонил мне и сказал, что хотел бы заехать на полчаса, по делу. Он в то время уже не был редактором. Но — “по делу...”

Какому же?.. Он приехал. За столом шел разговор о том о сем, о серьезном и повседневном, а о “деле” ни слова не было. И лишь когда в конце вечера я вышел его проводить, поймать такси, он сказал мне — я понял, он долго не решался, но вот — решился:

— Скоро вам в отдел поступит одна рукопись... Перевод, его делал мой сын... Это его первая попытка, первый опыт... Так вот, я прошу... Я вас очень прошу... Я ведь не так часто вас о чем-нибудь просил, правда? Но тут я прошу: если перевод не удался, не печатайте его... Обещаете?

Я дал слово. Но перевод оказался хорошим.”

В связи с этим весьма красноречивым, на мой взгляд, эпизодом не могу умолчать об одной, совершенно противоположного свойства, насквозь фальшивой публикации, Имею в виду главу “Иван Шухов” из книги М. Исиналиева “Штрихи к портретам”, вышедшей в Алматы в 1999 году. Не сужу о других, но штрихи к шуховскому портрету искажают его до неузнаваемости. Автор — бывший довольно-таки влиятельный партфункционер, — “забыв” за давностью лет кое-какие факты, намеренно их подтасовывает или измышляет то, чего не было вовсе. Скажем, он утверждает, будто Иван Петрович просил его, тогда заведующего отделом культуры ЦК партии Казахстана, принять меня на работу. Какая чушь! Да, я, до этого литсотрудник “Казправды”, действительно был принят в отдел. Но это явилось тогда для отца полнейшей неожиданностью, и он, помню, узнав новость, поначалу не на шутку рассердился на меня за подобную “конспирацию”. Дело в том, что не менее неожиданным был тот поворот и для меня самого: вызвали вдруг на собеседование, и буквально в считанные дни стал я инструктором республиканского партаппарата. А туда, известно, принимали не “с ветру”, а лишь — по солидным, надежным рекомендациям. Так вот — все тайное становится явным — спус-

тя какое-то время я узнал, что рекомендовал меня мой друг детства Владислав Владимиров, работавший в ту пору помощником Д.А. Кунаева. Таким образом, к той истории отец мой был, как видим, абсолютно не причастен.

Зачем же понадобился бывшему заву этот досужий вымысел? Да, думаю, просто — слаб человек, вот и поддался эмоциям: Шухов — старший ему, партийному ортодоксу, всегда был слишком “неудобен”, да и с младшим случались порой кое-какие трения.

Добавлю только, что отец вообще никуда меня не “пристраивал”, никогда ни перед кем не унижался и ни о чем за меня не просил.

Бережно храню номера “Простора” отцовской поры. Их у меня осталось ничтожно мало — всего пять экземпляров. Ведь полный комплект журнала за 1963 — 1974 годы, собранный тогдашним ответственным секретарем редакции Ростиславом Викторовичем Петровым, находится в фондах Дома-музея в Пресновке.

Среди моих пяти экземпляров особенно ценен первый номер 1972 года с “Травой в чистом поле”. В этом номере, сразу же за концовкой повести, опубликовано “Слово прощания”, которым отец откликнулся на скорбную весть о кончине Александра Трифоновича Твардовского.

Здесь же была напечатана и повесть “Когда жаждут мифа...” тогдашнего дебютанта в литературе, а ныне известного писателя Сатимжана Санбаева. Он был из плеяды молодых казахстанских литераторов, для кого шуховский “Простор” стал хорошей школой, стартовой площадкой в творчестве. Это — не моя оценка, а свидетельство самого Сатимжана, который, кстати, был моим деликатным, ненавязчивым спутником, когда мы в 1996 году ездили в Петропавловск и Пресновку на 90-летие отца. Он вспомнил о той поездке во вступлении к своей замечательной, раздумчивой и емкой ста-

не “Творчество, востребованное временем”, напечатанной в “Казахстанской правде” 4 февраля 2004 года. Строки статьи освещены мягким светом собственных, мнящихся в душе, воспоминаний, наблюдений и впечатлений от общения с Шуховым. Очень редко встретишь на страницах этой сугубо официальной газеты такую нетрафаретную, как принято теперь говорить, настроенческую статью, тон которой задан уже ее вступительной фразой: “Художник необычайно могучего дарования, он жил только литературой, а остальное относил в ряд бытовых неурядиц, которые “берут его в полон”.

И далее: “Иван Петрович был немногословным, в общении даже скупым на слова... Шухов не был подвержен предрассудкам, хотя и родился тринадцатым ребенком в семье. Может быть, упомянутая выше его немногословность в общении и неуступчивость в принципиальных вопросах в какой-то степени определялись и этим обстоятельством. Истину, что цели можно добиться благодаря неустанному и осознанному труду, сродни ежедневному подвигу, Иван Петрович, похоже, усвоил с малых лет и перенес ее в литературное творчество. Единственный шум, который он приветствовал, был шум редакционной работы в “просторовских” кабинетах, спор, рождаемый общением, необходимым литераторам для того, чтобы поддерживать свою творческую форму. Для него это положение составляло суть жизни.”

“Жизнь научила”, — уходил Иван Петрович от ответа, когда ему задавали вопросы, которые, по его разумению, не следовало задавать. Он не любил распространяться о своем прошлом, просто творил в настоящем времени, был весь в работе: подбирался, как признавался, к главной своей работе, как потом его друг Михаил Шолохов к судьбоносному рассказу “Судьба человека”.

... После той, 2001-го года, статьи к 95-летию отца — имени его на страницах “Литературной газеты” не встретилось мне ни разу. Но вот — подошла юбилейная шолоховская дата, начались связанные с нею публикации, и интуиция подспудно подсказывала мне, что где-то, в какой-то из статей непременно так или иначе Иван Шухов будет упомянут. А когда очень чего-то ждешь, бывает, оно и сбудется.

Вот, раскрыл одиннадцатый номер “ЛГ” от 23-29 марта 2005 года — страницу под рубрикой “Эпоха”, о которой уже сказал раньше, увидел фото: автор “Тихого Дона” на обрывистом берегу над речной излучиной — и крупный заголовок: “Михаил Шолохов. Последние годы”. Подпись под большим, полосным материалом — Валентин Осипов.

Почему-то с волнением, стараясь не спешить, принялся читать статью, разбитую на подзаголовки. Первая — “Песельникам чарку!” Речь в ней о том, как в Вешках 24 мая 1980-го отмечали 75-летие Шолохова. Донской писатель Виталий Закруткин вместе с поэтом Егором Исаевым спели на два голоса старинную песню донских казаков.

“Когда певцы спели, в тишине прозвучало, вконец разряжая напряженность, благодарствие, по-шолоховски неожиданное:

— Песельникам чарку!

Произнес это, на усмешливость настраивая, таким тоном, будто и в самом деле атаман-командир перед строем казачьего воинства ухарски выкликнул команду. Вот только не по-командирски, а по-шолоховски улыбнулся”.

Интересный эпизод! Да и слово “песельники” обрадовало меня: помню, когда, во время подготовки отцовского пятитомника, встретилось оно в каком-то тексте, я по незнанию растерялся, подумал — не опечатка ли? Может быть, правильно — “песенники”? Выходит, и хорошо, что оставили, как было в рукописи.

Вторая подглавка, “Диктовки сыну о запретном”, начинается словами: “Поклон младшему сыну писателя Михаилу Михайловичу, что добросовестно перелатгал на бумагу диктовки своего уже безнадежно больного отца. То сам что-то спросит, то отец попросит посидеть рядом — хотел выговориться.

Сын спросил: “Почему стал возможным культ Сталина?” Ответ, если ради краткости дать записи сына в извлечении, был таким:

— Да вдумайтесь сами: а что же еще у нас могло после революции получиться? Тут уж хочешь не хочешь, а должен где-то на самом верху появиться вождь. Именно вождь. Верховный Главнокомандующий. Человек, способный взять на себя смелость принимать окончательные верховные решения... Для всех. Сверху донизу и от Москвы до самых до окраин...”

“Приоритет Шолохова в том, — замечает В. Осипов, — что он, пожалуй, первым стал говорить не об особенностях личного характера Сталина, тем более клинических.

Так я понял то, что отец оставлял сыну”.

Действительно, молодец шолоховский сын, что сохранил отцовские слова для истории. А вот мне — так уж распорядилась судьба — спросить отца об этом и о том не было отпущено даже самого малого времени. Умер он скоропостижно, и не в больнице и не дома, а в такси: ехал навестить свою старшую сестру, и внезапно отказало сердце... Господь, видно, услышал его: ведь больше всего на свете боялся он одного — стать немощным и недееспособным. И, бывало, говорил: это только дряблкое дерево долго скрипит, крепкое — валится сразу...

Да, так вышло. Ничего не дано нам знать наперед, иначе, думаешь запоздало, спросил бы, может. О Сталине, например, тоже или о Шолохове. Да мало ли еще о ком? Но — не судьба...

... После той, 2001-го года, статьи к 95-летию отца — имени его на страницах “Литературной газеты” не встретилось мне ни разу. Но вот — подошла юбилейная шолоховская дата, начались связанные с нею публикации, и интуиция подспудно подсказывала мне, что где-то, в какой-то из статей непременно так или иначе Иван Шухов будет упомянут. А когда очень чего-то ждешь, бывает, оно и сбудется.

Вот, раскрыл одиннадцатый номер “ЛГ” от 23-29 марта 2005 года — страницу под рубрикой “Эпоха”, о которой уже сказал раньше, увидел фото: автор “Тихого Дона” на обрывистом берегу над речной излучиной — и крупный заголовок: “Михаил Шолохов. Последние годы”. Подпись под большим, полосным материалом — Валентин Осипов.

Почему-то с волнением, стараясь не спешить, принялся читать статью, разбитую на подзаголовки. Первая — “Песельникам чарку!” Речь в ней о том, как в Вешках 24 мая 1980-го отмечали 75-летие Шолохова. Донской писатель Виталий Закруткин вместе с поэтом Егором Исаевым спели на два голоса старинную песню донских казаков.

“Когда певцы спели, в тишине прозвучало, вконец разряжая напряженность, благодарствие, по-шолоховски неожиданное:

— Песельникам чарку!

Произнес это, на усмешливость настраивая, таким тоном, будто и в самом деле атаман-командир перед строем казачьего воинства ухарски выкликнул команду. Вот только не по-командирски, а по-шолоховски улыбнулся”.

Интересный эпизод! Да и слово “песельники” обрадовало меня: помню, когда, во время подготовки отцовского пятитомника, встретилось оно в каком-то тексте, я по незнанию растерялся, подумал — не опечатка ли? Может быть, правильно — “песенники”? Выходит, и хорошо, что оставили, как было в рукописи.

Вторая подглавка, “Диктовки сыну о запретном”, начинается словами: “Поклон младшему сыну писателя Михаилу Михайловичу, что добросовестно перелаты на бумагу диктовки своего уже безнадежно больного отца. То сам что-то спросит, то отец попросит посидеть рядом — хотел выговориться.

Сын спросил: “Почему стал возможным культ Сталина?” Ответ, если ради краткости дать записи сына в извлечении, был таким:

— Да вдумайтесь сами: а что же еще у нас могло после революции получиться? Тут уж хочешь не хочешь, а должен где-то на самом верху появиться вождь. Именно вождь. Верховный Главнокомандующий. Человек, способный взять на себя смелость принимать окончательные верховные решения... Для всех. Сверху донизу и от Москвы до самых до окраин...”

“Приоритет Шолохова в том, — замечает В. Осипов, — что он, пожалуй, первым стал говорить не об особенностях личного характера Сталина, тем более клинических.

Так я понял то, что отец оставлял сыну”.

Действительно, молодец шолоховский сын, что сохранил отцовские слова для истории. А вот мне — так уж распорядилась судьба — спросить отца об этом и о том не было отпущено даже самого малого времени. Умер он скоростижно, и не в больнице и не дома, а в такси: ехал навестить свою старшую сестру, и внезапно отказало сердце... Господь, видно, услышал его: ведь больше всего на свете боялся он одного — стать немощным и недееспособным. И, бывало, говорил: это только дряблкое дерево долго скрипит, крепкое — валится сразу...

Да, так вышло. Ничего не дано нам знать наперед, иначе, думаешь запоздало, спросил бы, может. О Сталине, например, тоже или о Шолохове. Да мало ли еще о ком? Но — не судьба...

Особенно остро сожалею об этом, читая публикации в связи с Шолоховским столетием. Юбилею “Литературка” посвятила почти весь номер за 18-24 мая 2005 года. Открывает его большая статья Феликса Кузнецова “Вырванная тайна”, где подробно описана история многолетних поисков рукописи “Тихого Дона”. Здесь фигурирует общий друг Шолохова и Шухова — Василий Кудашев, о котором не раз упоминается в мемуарной книге об отце.

Как пишет Ф.Кузнецов, в 27-м году, обороняясь от клеветы, Шолохов привез в Москву чемодан рукописей, представив все это созданной под руководством Серафимовича комиссии. Итогом ее работы явилась публикация в “Правде” и “Рабочей газете” официального заключения, опровергавшего клевету. Но Шолохов побоялся вернуть в Вешки черновики “Тихого Дона”. Он оставил их в Москве, у своего близкого друга Василия Кудашева, заведовавшего отделом литературы в “Журнале крестьянской молодежи”.

Но Кудашев в 41-м добровольцем ушел на фронт, попал в плен и погиб во Франции в 45 —м году. В августе 41-го года он писал жене, чтобы Шолохов вызвал его в Москву (а воевал Кудашев под Москвой). Он хотел вернуть рукопись “Тихого Дона”. Эти письма были опубликованы в книге “Строка, оборванная пулей”, выпущенной издательством “Молодая гвардия”. Но когда шолоховеды приходили к Кудашевой, она заявляла, что рукописи нет, так как она утеряна при переезде с квартиры на квартиру. Точно так же отвечала она и сыну Шолохова Михаилу Михайловичу, дочери Марии Михайловне, которые просили вернуть рукопись, когда начались нападки на Шолохова.

Далее события развивались таким образом. Вдова Кудашева доверилась одному человеку — журналисту Льву Колодному. В 1984 году, перед смертью Шолохова, она показала Колодному рукопись, разрешила ксе-

рокопировать ряд ее страниц, но запретила говорить, у кого та хранится. При живых наследниках М.А. Шолохова она не имела никаких юридических прав на рукопись, но все же решила попытаться ее продать через посредника — Колодного.

С этим предложением — выкупить рукопись “Тихого Дона” у неизвестного лица — Л. Колодный несколько раз обращался в Институт мировой литературы. В течение 15 лет там не могли получить от него ответа на вопрос, у кого хранится рукопись. В конце концов работникам института пришлось искать рукопись “Тихого Дона” и самостоятельно найти ее владельца. С согласия наследников М.А. Шолохова Академия наук в 1999 году за 50 тысяч долларов, выделенных Правительством, выкупила рукопись двух первых книг “Тихого Дона” у племянницы вдовы Кудашева.

Все эти драматические события развивались уже после кончины моего отца, можно сказать, свято относившегося к М.А. Шолохову. И не удивительно: в их жизненной и творческой судьбе было очень много схожего. Оба родом из казачьих станиц, родители того и другого работали по найму. Любопытно, что даже “профессии” отцов Шолохова и Шухова были близкими: первый был одно время скупщиком скота, а второй служил у богатых купцов-скотопромышленников гуртоправом. И матери обоих были неграмотными станичными полукрестьянками-полуказачками.

Практически одновременно — в первой половине двадцатых годов — начался литературный путь Шолохова и Шухова: в газетах и журналах появились их первые рассказы. Тогда же, в двадцатых, они познакомились в Москве и сдружились. Об этом, к сожалению, очень кратко, отец рассказал уже на закате жизни в статье “Обаяние личности”, опубликованной в газете “Ленинская смена” 24 мая 1975 года — в день

70-летия М.А. Шолохова. Думаю, это свидетельство заслуживает того, чтобы привести его здесь дословно.

“С Шолоховым судьба свела меня в юности в 1927 году, — пишет отец, — Мы с ним встретились в “Журнале крестьянской молодежи”, где работал Василий Кудашев, один из самых близких друзей нашей юности. В этом журнале печатались “Донские рассказы” Михаила Александровича, здесь же были опубликованы и самые первые мои произведения. Все трое мы очень сблизились, сдружились. Сказывалось, наверно, не только определенное родство характеров. Тогда мы только начинали входить в литературу, но нас связывала общность жизненного материала и опыта: Шолохов — донской казак, я крепко связал себя с темой сибирского казачества... Кудашев был выходцем из Воронежской области, и его роман “Последние мужики” тоже был посвящен переломному этапу в жизни русского крестьянства.

Приезжая в Москву, Шолохов останавливался у Кудашева в его маленькой квартире в Камергерском переулке. Там не одну ночь провели мы в разговорах и спорах. Критики, анализируя мои романы “Горькая линия” и “Ненависть”, нередко пишут о влиянии, оказанном на меня творчеством Шолохова. Должен сказать, что влияние это было. Влияние незаурядной и обаятельной личности Михаила Александровича, его творческой одержимости.

Считаю, что мне очень повезло, — тесное, непосредственное общение с Шолоховым в самом начале моей писательской биографии во многом помогло мне в литературном самоопределении.

Помню глубочайшие впечатления, которые вызвали у меня опубликованные первые главы “Тихого Дона”. Они-то и послужили своеобразным импульсом к написанию “Горькой линии”, вышедшей в свет в 1931 году. Роман “Ненависть” полностью вышел в свет рань-

ше “Поднятой целины”, но в нем по-своему преломились мысли, вызванные общением с Михаилом Александровичем.

В начале 1932 года Шолохов приехал в Москву из-за задержки журналом “Новый мир” публикации “Поднятой целины”. Я и Кудашев были одними из первых, кому он прочитал начальные главы своего романа. До сих пор наизусть помню первые абзацы “Поднятой целины” — настолько поразила меня новизна и свежесть шолоховского стиля.

Во время чтения раздался звонок — Шолохова приглашали в Кремль к Сталину. Часа через два Михаил Александрович воротился сияющий и довольный — вопрос о печатании романа был улажен. Журнал “Новый мир” с главами из “Поднятой целины” трудно было достать — роман вызвал огромный интерес в самых широких кругах читателей...

Личные и творческие контакты с Михаилом Александровичем у нас продолжались и в дальнейшем”.

В заключение отец сообщал о своих замыслах: “Сейчас я работаю над книгой мемуаров. Хочу написать в ней о людях, встречи с которыми стали для меня не только запоминающимися и радостными, но служили творческим стимулом. И, конечно же, особо хочется рассказать о дружбе с Михаилом Александровичем Шолоховым, личность и творчество которого являются для меня предметом восхищения и гордости.”

Остается только еще раз пожалеть, что осуществить задуманное отец не успел...

Потому, в дополнение к теме “Шолохов-Шухов”, хочу привести еще некоторые штрихи.

Сохранилось в архиве письмо журналиста, автора книг о М.А. Шолохове — П.П. Гавриленко.

“Дорогой Иван Петрович!

... После того, как ты коротко рассказывал мне, как вы с Шолоховым ночевали у В. Кудашева, читали ру-

копись “Поднятой целины”, у меня зародилась мысль дополнить главу моей книги “Шолохов среди друзей” рассказом о дружбе двух больших писателей М.Шолохова и И.Шухова.

Если ты за встречу, то давай встретимся возможно скорее, т.к. я собираюсь в конце месяца в Вешки, а к этому времени главу о друзьях надо закончить.

18.X.76 г.”

Из письма отца от 29 октября 1952 года: “Все к лучшему, может быть, — пусть эта формула и будет утешением слабым! Поезжай и сиди себе в своей Пресновке. Уверяю, что-нибудь высидишь! — сказал мне в последнюю нашу встречу М.А. И он прав, кажется. Кажется, я что-то высижу! Не решаюсь сказать пока этого наверняка, но чувствую — что-то выйдет... Только дал бы мне Бог мужества и решимости, смелости и уверенности в своих силах и возможностях”.

“Просторовец” Владлен Берденников — отец звал его просто Володя — в своих мемуарах воскрешает такой курьезный, на первый взгляд, а на деле логически вытекающий из всего прежде сказанного эпизод. Было все так. Замредактора Галина Васильевна Черноголовина справляла новоселье. “Оно мало чем отличалось от обычных редакционных посиделок. Там, где бывал Шухов, вряд ли возникал какой-то разговор, кроме литературного...”

Незаметно завязался спор о творчестве одного известного литератора, фамилии которого я называть не стану. По одну сторону баррикады оказался Шухов, который долгое время дружил с этим литератором и любил его, по другую — Герт и я. Белянинов занял промежуточную позицию рефери.

Стороны так и не добились перевеса, разошлись недовольные друг другом. Шухов сердился, его возмущала бескомпромиссность наших суждений...

Около двенадцати стали разъезжаться. Мы с Иваном Петровичем жили недалеко друг от друга, а потому возвращались вместе. И дернуло же меня возобновить уже забытый спор о судьбе известного литератора, возникший в начале вечера. Не скрою, хотелось немного поумничать.

Шухов, видимо, сразу почувствовал это. Короткая полемика кончилась тем, что он велел шоферу остановиться. Это было квартала за два до моего дома.

— Вылезайте! — гневно приказал Иван Петрович. — Завтра же уволю!

Я улыбнулся: Шухов частенько грозил этой карой, и никто не принимал ее всерьез. И все-таки в понедельник я пошел просить прощения, догадывался, что причинил ему боль.”

Добавлю от себя, что под “известным литератором”, как мне позже сообщил В. Берденников, здесь подразумевается М.А.Шолохов...

Обо всем этом и побудили вспомнить статья Феликса Кузнецова и другие литгазетовские юбилейные Шолоховские материалы.

... 1953 год. Отец в ожидании операции в Омской глазной клинике. Строки из его письма оттуда моей матери и мне: “Меня стали готовить к операции, назначенной на 5 марта. Но тут свалилось на всех нас такое неслыханное горе — болезнь и смерть нашего Сталина. Проснувшись в ночь на 6-е, я взял наушники и услышал голос московского диктора, который сказал только одно: “говорит Москва”, не назвав ни длины волн, ни программы передачи, и тотчас же зазвучала до боли знакомая мелодия. Это была “Осенняя песня” Чайковского. От тихих, светлых, чистых, как слезы, звуков ее у меня оборвалось сердце, — я почувствовал, что все было кончено.

Мне представилось прекрасное спокойное лицо Сталина на белой подушке, серебряные его виски, прикры-

тые веки, благоговейная тишина в его кремлевской квартире. Я лежал неподвижно в тихой темной моей палате, и слезы текли и текли по лицу. Никогда я теперь не забуду этого предрассветного часа, этих горячих и тихих своих слез, этого потрясающего реквиема Чайковского, всю душевную боль которого ощутил я в эту минуту бесконечного личного горя. Расскажи как-нибудь, Женя, Илюшке про все то, чем я лично обязан был Сталину, его заботе обо мне, его вниманию...”

А обязан отец был, как я узнал гораздо позже и, повторю, к сожалению, не от него самого, ни много ни мало тем, что чудом избежал в годы репрессий расправы, которая готовилась кое-кем из влиятельнейших в ту пору завистников-функционеров...

... Итак, статья о Шолохове в “ЛГ”. Третья самая объемная подглавка “Последняя больница”: подробный рассказ о встрече В. Осипова — тогда директора издательства “Художественная литература” — 9 января 1984 года с Шолоховым в Москве, в больничной палате, куда, кроме родных Михаила Александровича, практически никого из посторонних не допускали. Писатель был уже очень слаб, хрипло дышал, мучительно кашлял. “Но могучий ум не сдался. Умиравший писатель остатки своих совсем коротких недель жизни решил отдать хлопотам о первом посмертном издании”.

Еще один фрагмент.

“Закончился деловой разговор. То и дело мелькала мысль: не утомить бы чрезмерным присутствием. Он углядел порыв подняться. И велит не уходить. Как и все прошлые разы, я догадывался: Шолохов плохо чувствовал себя в больницах еще и потому, что недоставало и новостей, и живого общения с вольными людьми.

Взглянул на мою лишь чуть-чуть початую рюмку: “У нас... пьют... до дна... Закусывай... Закусывай...”

И, наконец, вот он - абзац, заставивший мое сердце забиться чаще.

“Слово за словом — и пошел разговор, да не по компасу, а по настроению. И чтобы предстало понятным, как он непринужденно складывался, скажу, что я отважился (сказалась, видно, рюмочка!) даже на песню, на казачью, из тех мест в Казахстане, где прошло детство. Это после того, как в разговоре упомянули Ивана Шухова и его некогда знаменитый казачий роман “Горькая линия” о тех казаках, что жили по Иртышу, а это и моя река”.

(Ах, Валентин Осипович, а я ведь ни сном ни духом не знал, что Вы родом из шуховских мест, когда в 83-м, за год до этой Вашей встречи с Шолоховым, обращался к Вам, директору “Худлита”, по поводу отцовского собрания сочинений.)

Главное — Шолохов, как раньше и Твардовский, уже на исходе своих дней по-доброму вспомнили своего давнего друга и литературного собрата. В такие моменты, наверное, думается о сокровенном, запавшем в душу, и отсеивается мелочное и наносное.

Да, некогда знаменитый роман... Припомнились строки того же давнего письма из Омской клиники: “Роясь в комплектах “Нового мира” за 36 год, нашел в одном из номеров большую статью о себе, которой никогда не читал, и еще одну статью о читательской конференции рабочих Ростовского завода Сельмаша, на которой разбирались “пять наиболее читаемых книг”, в том числе и “Ненависть”. Взгрустнулось немного не то от былой славы, не то просто от тихого милого мартовского снега, падавшего в сумерках за окном”.

(Добавлю: наряду с романом отца разбирались “Поднятая целина” М. Шолохова, “Разбег” В. Ставского, “Большой конвейер” Я. Ильина, “Цусима” А. Новикова-Прибоя.)

Что же... “Время — вещь необычайно длинная”, а “слава человеческая — яко дым переходящий”.

“Обаяние личности”. Эти отцовские слова о Шолохове можно, я думаю, с полным правом сказать и о нем самом. Иван Шухов, безусловно, был прежде всего личностью — редкостной, своеобразной, ни на кого не похожей, оригинальной в отношении к жизни и людям, в своих каждодневных поступках и словах. Он не любил рационалистов и сам никогда им не был, а высшей похвалой в его устах было: “Мировой мужик!”

Мне кажется, неспроста, говоря об Иване Петровиче, хорошо его знавший критик Николай Степанович Ровенский одну из многих статей о Шухове заключил стихотворной цитатой:

Разве скоро сойдутся в одном человеке
Милость сердца, веселая дерзость ума!..

Или вот — казахский поэт Гафу Каирбеков, которому, по его признанию, в “Слове о Шухове”, произнесенном на юбилейном вечере в ЦДЛ, судьба подарила не так уж много встреч со старшим товарищем по перу, подытожил свои воспоминания известными некрасовскими строками:

Природа — мать!
Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

Милость сердца... Вспоминается разное. Была у отца, истинного сибиряка, одна богатырская забава — напарившись в своей жаркой пресновской баньке, выскочив, кидаться в снежный сугроб. В алма-атинской же квартире он, подобно известному хрестоматийному герою, ванну признавал только холодную. Неспроста в пушкинской поэме среди других особо затронувших строк подчеркнул и такие:

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом (...)
Со сна садится в ванну со льдом.

А париться отец ходил в памятную многим городским старожилам Турксибовскую баню на бывшей улице Узбекской.

Однажды зимним морозным днем, когда он в очередной раз отправился туда, в квартире зазвонил телефон. Мать взяла трубку — раздался встревоженный голос одной знакомой: “У вас дома все в порядке?” — “Да вроде все... А в чем дело?”

Оказалось, знакомая только что увидела в окно странную картину. Сначала не поверила своим глазам, узнав в прохожем Ивана Петровича. Он не спеша ступал по тротуару... босиком, с портфелем, из которого торчал хвост березового веника. Вот и подумала — уж не тронулся ли умом! Мать в ответ рассмеялась: “Да это же он из бани”.

Вскоре после звонка отец вернулся и рассказал, что, пока парился, у него стащили ботинки из шкафчика и подсунули взамен чужие. Надевать их не захотел. Да еще всячески успокаивал знакомого тамошнего банщика — добрейшего, чуточку блаженного Тиму, расстроенного пропажей больше, чем он сам: ничего, мол, подумашь — всякое бывает...

Или — такой эпизод, увиденный однажды на том же проспекте возле отцовского дома жившим поблизости А.И. Брагиным. Они часто встречались у киоска “Союзпечати”, где покупали “Литературную газету”. Фрагмент из воспоминаний Алексея Ивановича: “В апрельский полдень иду к киоску. Вижу, как улицу Мира, не торопясь, переходит Иван Петрович. Вдруг из-за проспекта Абая выныривает грузовик и круто пересекает улицу Мира. Мне стало страшно, аж зажмурил глаза. Подождал несколько мгновений, открыл. Из-за остановившейся машины выходит Иван Петрович, улыбается.

— Вы-то слышали?

— Что слышал? — недоумеваю.

— Вы-то слышали, как матерился шофер? “Художественно” матерился, а ведь сам виноват.

— Господи, Иван Петрович, я думал...

— Я сам так думал...”

И в том, и в другом случае, как видим, все закончилось смехом.

К слабостям и недостаткам человеческой природы Иван Петрович относился снисходительно, казалось, порой даже жалея и сочувствуя их носителям. Одним из таких был весьма посредственный, однако, высоко ценящий себя литератор, которого он в Петропавловске увидел солнечным утром гордо стоящим напротив обкомовского здания и, как сам рассказывал, принял его за...памятник. О нем-то однажды и писал из Пресновки своему другу Андрею Киянице: “Вчера ночью звонил мне Леня М. Он — силен! Сделал мне выговор за то, что наш райком партии, вопреки директиве ЦК, не подписался на “Советский Казахстан”. Затем сказал мне, что для моего очерка у него найдется место в 5-м номере. Потом пригрозил прибыть в творческую командировку на лето в наши края. Про Митю сказал буквально следующее: “Он теперь ничего не делает. Занят творческой работой.” Вся беда Лени в том, что Бог не наделил его чувством юмора, без чего нет писателя. Он этого не понимает даже тогда, когда бессознательно столь удачно острит.”

Сам отец чувством этим обделен не был, и хотя среди персонажей его книг нет, кажется, ярко выраженных комических образов, подобных шолоховскому деду Шукарю (разве что дед Богдан со своей “фузей” из “Горькой линии” да старые приятели-казаки Устин с Платоном из “Пресновских страниц”), в жизни всегда подмечал истинно смешное и рад был при случае поделиться своими наблюдениями.

Немало забавных историй связано с простыми земляками-станичниками. Скажем, такая, о которой Иван

Петрович поведал в письме Д.Снегину 16 февраля 1940 года.

“Сегодня зашел ко мне дядюшка с огромным свертком географических карт. Вот, говорит, карты дают в универмаге. 22 рубля штука. Я пяток только захватил, а некоторые по десятку успели. “Да зачем же они тебе, дядя?” — спрашиваю. Как, говорит, зачем? Да из ей же двое низиков выйдет! Ить она же на чистом почти батисте!!! Утром Европу продавали, так там парочка нательного белья да бабья рубаха выйдет — защурься. А из этой вот полушарии такого количества уже не выгадать. Сплоховал я — поздно в очередь стал, во втором часу ночи. Те, которы с вечера стали, дак понабирались куды с добром, все теперь чисто оденутся!!!”

Вот уж этого-то в ваших секциях столичные литераторы не придумают!

Так вот и живем, когда с мясом, когда с квасом, а порой и с водой, как говорится. Господа станичники ходят ко мне в гости. Слушаю их бесконечные рассказы с величайшим наслаждением, отдыхаю в эти минуты и учусь изумительному их языку. А писать так же просто, сочно и ярко не удастся, черт бы ее побрал эту нашу литературу!”

В кругу друзей отец рассказывал со смехом и о том, как однажды зашел к нему сосед-станичник, постоял в кабинете, посмотрел на шкафы, полные книг, подумал и говорит: “Сколько книг-то Иван Петрович, ты написал!.. А когда же ты работал?”

Писать-то, мол, вы пишете, ну а на работу, настоящую-то, времени хватает?..

Смех смехом, но сам отец избегал этого слова: писать, пишу... Говорил: работать, работаю... Оттого, может быть, как верно заметил Юрий Герт, что “пишу” — отъединяло, выделяло среди остальных людей, подчеркивало специфику литературного труда, “работаю” же — сближало со всеми, ставило в общий ряд.

Зная цену писательскому труду, Шухов старался в нелегкую минуту помочь товарищам по перу, поддерживать их участливым словом и делом. И — тоже своеобразно, нетрафаретно, что также составляло одну из черт обаяния его личности.

Прозаик и поэт Николай Почивалин, например, приводит в своих воспоминаниях следующий колоритный эпизод. В начале 50-х годов он, живя тогда в Омске, навещал отца, который приезжал туда делать операцию на глазу. После обследования в клинике операцию отложили. Дальше — слово Почивалину:

“Засобиравшись домой, он вдруг предложил мне:

— Быстренько подготовьте рукопись новых стихов. Пошлем в казахстанское издательство, я напишу сопроводительное письмо.

К этому времени я был уже членом Союза писателей, автором двух тощеньких поэтических сборников и мог ли упустить такую блистательную возможность: с ходу издать третий! Машинка у меня на квартире стучала с утра до ночи, и через рекордно короткий срок я положил перед Иваном Петровичем довольно объемистую рукопись.

Неопределенно посапывая, он внимательно пролистал-просмотрел ее, кое-что выкинул и принялся за письмо издателям. К моей радости и некоторому внутреннему удивлению, написал он нечто очень благожелательное, одобрительное, — теперь подозреваю, что ему, возможно, хотелось таким путем поблагодарить за то, что мы с Борисом Малочевским как-то скрасили его затянувшееся пребывание в чужом городе. Короче, я положил письмо сверху титульного листа будущей книжки, сорвался с места, чтобы бежать на почту. Иван Петрович сурово остановил меня:

— Погодите. Положите рукопись на стул и садитесь на нее.

— Зачем? — опешил я.

— Эх, зслень! — упрекнул он и убежденно, с некоторой правдой, долей смущения, объяснил, открыл тайну: — Посидел — значит высидел. Тогда обязательно пойдет.

Оказавшись в роли клушки на яйцах, я сосредоточенно отсидел на собственной рукописи столько, что она должна была быть не только издана, но и премию получить! Увы, вопреки таким гарантиям и такому старанию, рукопись эта так никогда и не стала книгой. Что, как ни странно, не особенно и огорчило: остывая к стихам, все чаще я стал пробовать себя в прозе. В чем, кстати, ненавязчиво, тактично поддерживал меня и Иван Петрович, нет-нет да и возвращаясь в разговорах к моему наивному казахстанскому рассказу...

Николай Михайлович имеет в виду один из своих первых рассказов, напечатанный в 1949 году им, тогда акмолинским журналистом, в республиканской газете “Ленинская смена”, на который (рассказ) он получил — в день публикации! — отклик-телеграмму из Алматы: “С удовольствием прочитал рассказ...”, затем еще всякие хорошие слова и подпись — Иван Шухов.

Отец, как он признавался, ценил в людях “золотую ребяческую непосредственность”, которая так редко встречается. Он сам порою был таким большим ребенком, удивляя окружающих своей неординарностью. Один из его спутников в путешествии по США в 59-м году Валентин Гольцев был очевидцем забавных приключений, произошедших тогда с Иваном Петровичем. Он живо поведал о них в своих заметках “Признание у Ниагары”.

“Как большой художник, вечно увлеченный какой-то идеей, которая захватывала все его существо, Шухов внешне был необычайно рассеян. Еще в начале нашего путешествия он отдал мне свои американские деньги и просил их хранить.

— Побереги, Валентин, а то я обязательно их потеряю.

Спустя несколько дней мы летели из Вашингтона в Буффало, чтобы полюбоваться всемирно известным Ниагарским водопадом... Мы все дремали под мерный гул винтов. Только один Шухов, бросив писать — а он писал во время нашего путешествия непрерывно: и в самолетах, и в автобусах, и в поезде, и в автомобиле, — заметался по салону.

— Иван, что ты бегаешь по самолету?

— Неприятное происшествие.

— Что случилось?

— Неприятность.

— Да скажи, в чем дело?

— Деньги потерял.

— Какие деньги? — удивился я.

— Американские.

— Откуда они у тебя?

— Как откуда? Ты в Интуристе получал, и я получил.

Я, не вытерпев, рассмеялся.

— Чего ты смеешься?

— Да то, что деньги ты мне отдал. На сохранность.

— Фу, черт, а я позабыл и думал, что потерял!”

Не могу удержаться, чтобы не привести из этих же заметок и другой, на этот раз вполне серьезный эпизод, где проявляются и такие подкупающие черты отца — естественность, умение везде оставаться собой. Перед той заокеанской поездкой, в американском посольстве в Москве консул вручал паспорта.

“В маленькой комнате-конторке... сидел человек лет тридцати в сиреновой рубашке и черном галстуке. При появлении Шухова он быстро вскочил, точно подброшенный вверх катапультной, и, протянув руку Шухову, заученно сказал:

— Рад приветствовать в стенах американского посольства сибирского Шолохова.

— Я просто Иван Шухов, — не очень любезно реагировал последний.

— Да, да, я, конечно, знаю, что вы Шухов, но ведь вы тоже пишете про казаков, — продолжал рассыпаться в любезностях американец. — Казаки — это удивительные люди, лихие наездники, безумные рубаки. Вы так прекрасно изобразили их быт, нравы, их вольную жизнь до революции. Очень волнующая вещь — ваш роман. Вы сами, конечно, казак.

— Казак.

— Как это прекрасно. Конечно, только казак мог так тонко, прочувствованно описать их трагедию, их конец, — продолжал гнуть свое дипломат.

— Почему конец? Казачество живет и сегодня, — весь закипая, возразил Шухов...

— Ваши казаки очень похожи на наших ковбоев, — закруглил консул, видимо, почувствовавший возмущение Шухова. — Наши ребята вам обязательно понравятся, мистер Шухов.

— Посмотрим, — неопределенно пробурчал Иван Петрович.

... Выйдя из посольства на улицу, Иван Петрович сказал про консула:

— Не зря парень зарплату получает... Ковбои — тоже казаки, смех один! Знаем мы этих “казаков”. Наши-то сибиряки на гитлеровском рейхстаге свои расписки клинками оставили. А ковбои? Так, мелкие скандалы, со стрельбой в провинциальных городках. Да их смельчаками киновоевики сделали.”

Обаяние личности... Многих, кто знал Шухова, удивляли и подкупали его скромность, простота, сочетающаяся с чувством собственного достоинства и высоким духовным аристократизмом. Он терпеть не мог фальши, казенщины, официальных церемоний. Летом 76-го года, накануне своего семидесятилетия, никого не уведомляя, приехал погостить в родные края. Более того, всячески постарался, чтобы не было при встрече ни загодя составленных приветственных речей, ни пыш-

ных приемов. В жаркий июльский вечер он словно затерялся среди других пассажиров, спускавшихся по трапу самолета, приземлившегося в Петропавловском аэропорту. И все-таки, как рассказывает тамошний журналист Владимир Шестериков, выделялся своей броской неординарностью, только ему присущим выражением лица, и не заметить его было невозможно. Поздоровавшись со встречающими, трехкратно, чисто по-русски расцеловавшись с ними, он сразу же взял добродушно-шутливый тон в разговоре, начисто отменяя ту дистанцию между собой и окружающими, на коей, по мнению некоторых, положено держаться писателю с большим именем.

Редакция областной газеты “Ленинское знамя” была, пожалуй, единственным учреждением, куда охотно согласился прийти в тот свой приезд. Шестерикова, сотрудника газеты, поэта — отец давал ему рекомендацию для вступления в Союз писателей — он и пригласил к себе в спутники в поездку на пресновскую землю. Они отправились в путь на выдавшей виды легковушке областного управления культуры.

Грустная то оказалась поездка...

К северо-западу от станицы, среди поспевающих хлебов затерялся фамильный шуховский березовый колод, описанный в повести “Трава в чистом поле”. Володя — так, по-дружески, звал его отец — уговорил съездить туда, и они долго плутали среди неоглядных полей, увалов и перегородивших дорогу машине труб, прежде чем Иван Петрович, вспоминая приметы, воскликнул:

— Вот это он и есть.

Машина въехала в глубь березового перелеска, и спутник с шофером разошлись в разные стороны, понимая, что Ивану Петровичу следует побыть наедине с собой, со своим детством. А когда вернулись, вдосталь полакомившись костяникой и насобирав грибов, Воло-

де, по его словам, показалось, что Иван Петрович все еще находится там, в том давнем, неповторимом, как светлое сновидение, лете. Он прислушивался к шороху степных, щедро рассыпанных по березняку трав, вглядываясь в пронизанные солнечным светом зеленые кружева берез, шумящих верхушками своими в высоком безмятежном небе.

Можно ли было тогда предположить, что эта встреча писателя с родиной и земляками окажется — последней...

В завершение хотелось бы привести отрывок из воспоминаний об отце совсем не надолго пережившего его писателя Юрия Осиповича Домбровского.

“Позвонили по телефону из Алма-Аты и сказали, что Шухов... Последнее слово трубка либо вовсе съела, либо я его не расслышал.

— Что Шухов?

— Умер, умер, — повторили.

— Как? — спросил я совершенно по-дурацки, еще, кажется, не полностью понимая смысл сообщения...

Настоящая скорбь в таких случаях либо сражает сразу, либо приходит с опозданием. После того, как ты примиришься с тем, что вот этого человека, живого, охочего до смеха и хорошей шутки, стихов, любившего слушать чужие вещи и тщательно прятавшего даже от друзей свои, хотя они были порой на голову-две выше тех, которыми он искренне восхищался, — так вот этого человека уже нету! “Не был, был, никогда больше не будет”, — как выбито на плите на каком-то древнем римском кладбище.

Во время одной из наших прогулок (или посиделок, не помню) я прочел эти слова, и Шухов — страшнейший жизнелюб — не омрачился, даже не задумался, а засмеялся: “Вот это уж никак не укладывается у меня в голове — никогда больше не будет”. — “А будет?..” — “Обязательно, — ответил Иван Петрович. — И не

единожды”. — Он редко говорил таким языком — и поэтому я запомнил это великолепное и твердое “не единожды”.

... Начало 90-х. Помнится: волна так называемого плюрализма взбила тогда море мутной пены, и пошел накат на многие знаменитые почитаемые имена. В то время в Нижнем Новгороде состоялась теоретическая конференция по творчеству Максима Горького. Участвовал в ней и норвежский профессор филологии господин Хьетсо. И вот, когда ему заметили, что в России, мол, о Горьком сейчас судят по-разному, он сказал — нас это не интересует: Горький оставил такой большой след в мировой литературе, что ему ничто не может повредить.

Думаю, эти слова в равной степени справедливы и по отношению к другим настоящим писателям, чей след не меркнет с их уходом.

Вместо эпилога

Тридцатого апреля исполнилась очередная годовщина — двадцать восемь лет, как не стало отца. В своих заметках я слишком скупно сказал об его уходе. А ведь то ошеломившее событие круто изменило мою жизнь. И память снова и снова возвращает к последнему, предпраздничному дню апреля 1977 года...

Трагическое известие я получил поздним вечером. Я с утра до полудня был на работе, и отец несколько раз звонил мне туда — как помнится, без какого-либо конкретного повода.

Я знал, что он никогда не любил официальных праздников. Их шумиха и пустота ему, человеку творческому, были в тягость. А тут предстояли целых три таких пустых первомайских дня. Наверное, томило смутное, тревожное предчувствие, и ему надо было отвлечься, успокоить душу. Видно, не мог он в просторной квартире найти себе места. Там с ним находилась моя мать, но ему почему-то хотелось слышать меня.

Уже во второй половине дня я приехал домой, и он позвонил снова. И чувствовались в его разговоре особенные мягкость, теплота, при том, что сентиментальность никогда, сколько помнится, не была у нас в чести.

Последний отцовский звонок раздался уже в сумерках. Он довольно долго говорил — помню как сейчас — что хотел бы на каникулах свозить моего старшего сына Андрея в Таллин, показать ему Прибалтику, Рижское взморье — места, которые полюбил в последнее время, когда оказался отлученным от “Простора”. Говорил об этой чаемой поездке с необычной, трогательно-просительной интонацией, словно опасаясь отказа. И смущенный мягкостью, заботливостью, я отвечал нечто в том смысле, что, мол, было бы просто здорово...

Позже моя сестра Наталья рассказала, что тем вечером отец дозвонился и ей в Уфу — она была там в командировке, — известил: “Сейчас поеду к Пανε”. По сути — простился.

...Вот и все. Если бы я знал! Не к себе надо было мне спешить с работы!

Некоторое время спустя после нашего последнего разговора позвонила мать: “Отец плохо себя чувствует, едва ходит. Но — по его желанию — я отправила его на такси к Прасковье Петровне.”

Прасковью Петровну, Паню, свою старшую сестру, он очень почитал и часто ее навещал. Так что, на первый взгляд, поездка сама по себе не представлялась чем-то из ряда вон выходящим. Если бы не наши необычные разговоры и встревожившее сообщение о его самочувствии. Судя по всему, плохим оно было с утра. Мать это видела, но до последнего ни слова мне не сказала.

Некоторое время спустя — еще звонок. Хватаю трубку — обухом по голове: “Отец умер”.

Она сама вызвала такси. Сопроводила отца по лестничным ступеням с третьего этажа, посадила на зад-

нее сиденье и, запахнув внутрь полу его свесившегося до зсмли плаща, захлопнула дверцу.

До сестры он не доехал... Не прошло, наверное, и двадцати минут —позвонили из Совминовской больницы, находящейся всего лишь в четырех кварталах от дома: перепуганный таксист привез его туда — уже бездыханного.

Остаток вечера до полуночи мы с матерью провели в приемном покое. И несмотря на то, что получили официальное медицинское заключение, я все никак не мог поверить в реальность случившегося.

После я узнал, что в наше отсутствие шофер вернулся на квартиру за расчетом. Крайне возбужденный, он кипел негодованием: зачем вызывали такси, когда надо было — “скорую”!

И с этим трудно поспорить.

Но — я никого не сужу. Что было, то было, и прошлого не вернуть. “Только дряблос дерево долго скрипит, крепкое —валится сразу.”

Он был по-сибирски крепким. Всю жизнь. До последнего вздоха.

Август 2004 — май 2005

КОСТЁР В СТЕПИ

Первый же роман двадцатипятилетнего Ивана Шухова был восторженно встречен не кем-нибудь, а великим писателем Максимом Горьким. Он писал, что Шухов рисует действительность “с беспощадной, правдивой суровостью... вот это и есть подлинное, настоящее искусство изображения жизни силою слова”. Горький сам редактировал книги Шухова, давал их на переводы, всегда ставил в один ряд три имени — Федор Панферов, Михаил Шолохов, Иван Шухов.

... Кстати, убрав с карты Москвы имя Горького, мы как будто пытаемся убрать его и из литературы. Во-первых, тщетно, а во-вторых, неблагодарно и необъективно. Вспомним, скольких людей он ввел в литературу, скольких людсй он, единственный, защитил или пытался защитить. В том числе Маршака, Пильняка, Замятина.... О прозаике Иване Шухове читатель и сам составит мнение, прочитав его книги. Я же скажу о малоизвестной широким кругам читателей деятельности Ивана Шухова — главного редактора казахстанского журнала “Простор”.

Существует легенда, что после ухода из “Нового мира”, перед смертью, Твардовский говорил: “Ничего... есть еще Иван Шухов, есть еще журнал “Простор”.

Со страниц “Простора” впервые вышли к читателю ставшие ныне классикой стихи Анны Ахматовой,

Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, неизвестные произведения Андрея Платонова и Бориса Пастернака. “Простор” вернул из забвения имена Павла Васильева и Антона Сорокина...

В Москве и Ленинграде на “Простор” записывались в библиотеках на месяц вперед. После выхода в 1966 году документальной повести о замученном в НКВД гениальном ученом Николае Вавилове на имя Шухова пришло такое письмо:

“Два номера Вашего “Простора” пользуются в Ленинграде необыкновенным, историческим успехом... получил два номера на одну ночь — с 11 часов вечера до 10 часов утра”. Далее следует просьба выслать какие-нибудь бракованные экземпляры. А если нет, то “вдруг да в редакции завалелась какая-нибудь верстка этих номеров. Вдруг да судьба мне улыбнется”. И подпись: Юрий Герман. Тогда же готовились к печати стихи Магжана Жумабаева.

Каково было Шухову выдерживать давление власти — доподлинно знали только он да его родные. Хотя в литературном мире, конечно, представляли. Так, первый помощник Твардовского по “Новому миру” Владимир Лакшин писал в 1972 году, после смерти Твардовского: “Понимаю положение “Простора”. Вы засветили свой огонь. Да не всем нравится, когда в степи что-то светит и греет”.

Вроде бы личное письмо, да? Но трудно понять, то ли это обыкновенная писательская образность, то ли уже привычка, выработанная годами подцензурной жизни. А сам Шухов в письме к близкому другу высказался резко: “Может, не следует сказывать нашему народу правды? А отчего не следует — вот этого нам никто не говорит. Кое-кто пытается принудить меня не к службе — к прислуживанию. А я служил, служу и буду служить великой русской литературе”.

И поныне в литературных кругах поговаривают, что “Простор”, увлекаясь своей “всесоюзностью”, мало внимания уделял казахстанской и казахской литературе. Это полная неправда. В семидесятые годы в советской литературе четко обозначился феномен казахского исторического романа.

Отдадим должное мужеству казахских писателей, творивших историческую прозу под окрики партийных идеологов. Но будем также помнить, что многие образцы той литературы, от повестей молодого Сатимжана Санбаева до эпоса патриарха Ильяса Есенберлина, безоглядно назвавшего один из своих романов именем запрещенного к упоминанию исторического деятеля — “Хан Кене” — вышли в большой мир со страниц “Простора”.

Твардовский умер через два года после изгнания его из “Нового мира”, в 1971-м. Шухов — через три года после изгнания из “Простора”, в 1977-м.

Поводом для опалы Шухова стал, как тогда говорили, знаменитый ныне роман Фредерика Форсайта “День Шакала”, который начал публиковать “Простор”. Всего лишь поводом. И довольно неубедительным. История эта неясна до сих пор. После выхода первой части романа власти усмотрели не то параллели с покушением на Брежнева, не то инструкцию по покушению на первых лиц государства, не то поставили в вину высказывания Форсайта в поддержку Солженицына... Так или иначе — невиданное дело — первый номер журнала вроде бы велели конфисковать. Но Шухов упрямо выпустил и второй номер.... На нем печатание романа Форсайта закончилось... и участь Шухова была решена.

Опять же, и тогда, и потом говорили, что Шухов “поступил опрометчиво”. Мол, чувствовал себя неуязвимым, потому как не только Горький, но и Сталин (!) в свое время сказал о нем самые лестные слова, что для наших правителей могло быть на какое-то время ох-

ранной грамотой. Да и стоило ли, мол, из-за Форсайта обострять отношения с властями?

Тут, простите, решать и судить было самому Шухова. Да, любой “главный” в те времена бы дипломатом. Не будь, к примеру, Твардовский вхож во власть, не дружи с Лебедевым, помощником Хрущева, не имей возможности передать через него самому Хрущеву рукопись “Одного дня Ивана Денисовича”, — кто знает, как сложилась бы литературная и политическая судьба Солженицына?

С другой стороны — если не “поступать опрометчиво”, то зачем быть “главным”? Кто, кроме “опрометчивых” Твардовского и Шухова, опубликовал бы в те годы то, что было опубликовано?

Вот потому-то после них и остался не перечень титулов и наград....

После них осталось литературное время. Время “Нового мира” и время “Простора”.

ФЕНОМЕН ТАЛАНТА

Эскизы к биографии И.П. Шухова

Как случается нередко — ищешь одно, а находишь другое. И порой более интересное и значительное, чем то, что ты искал. Просматривая в областном архиве в Петропавловске подшивки местных газет тридцатых годов, я нечаянно наткнулся на комплект газеты “Юный степняк” за 1924 год. Листая ее пожелтевшие страницы, я вдруг обнаружил почти в каждом номере стихи и заметки, подписанные: “Ив. Шухов”, “И.Пресновский”, “Иван Шухов”... “Юнкорское”, “Юнкор степи”, “К новому быту”, “Всё новое” — так назывались стихи. Они поразили меня наивной незатейливостью, безыскусным выражением мыслей и чувств. Но пристальной вчитавшись в них, можно было заметить — то были все же не графоманские штучки, а попытки, пусть и неуклюжие, высказать что-то свое.

Я сын полей и вырос среди пашен,
Среди степи узорчатых ковров.
И для меня нет и не будет краше
Степных широт и бархатных лугов, —

провозглашал “юнкор степи” Ванюша Шухов, приехавший после полутора десятка лет деревенской жизни в город, чтобы учиться. В Петропавловске, городе в ту пору весьма провинциальном, он поступил в педагоги-

ческое училище. Литературная среда отсутствовала. Ваня Шухов варился в собственном соку. Он пробует свои силы не только в “виршах”, пишет и зарисовки. “Угол медвежий. Из быта деревни” — так названа одна из них. Персонажи списаны явно с натуры: дядька Фрол, привезший из города газеты для курева, его сын Федька, который пытается использовать газеты по прямому назначению, рыжий Архип, которому интересно знать “жизнь на белом свете”, другие мужики, просиживающие в пересудах целые ночи... Но главный персонаж — Федька, “парень боевой, первый на деревне. На праздниках театр устраивал для крестьянских работников: шубы повыворачивал и стал “ведмедь”... Страшно и смешно было. А вот теперь, когда отец приехал из города, читал собравшимся мужикам газеты, которые были предназначены для курения”.

Зарисовка завершалась так: “На дворе свет забрезжил. Мужики расходились по домам, а Федьке велели припрятать газетенку и прочитать снова все старое завтра.

Архип, идя вплоть до самого дома, бормотал: — И есть же жизнь на белом свете, не то что у нас, в медвежьем углу”.

В свою находку я решил посвятить самого Ивана Петровича и передал ему фотокопии его юнкоровских творений. Не обидится ли? Нет, ничуть. Напротив, повеселел, повспоминал кое-что из тех далеких лет. Рассказал, как “Юный степняк” однажды перестал печатать его “вирши и заметки”. Юнкор степи решил пошутить и послал в редакцию чужие стихи, переписав их из настенного календаря. Сотрудники редакции приняли шутку всерьез и объявили юнкора плагиатором.

— Я еще напишу об этом, — сказал мне Иван Петрович. Но я думал о другом: как первые всходы таланта, эти еще слабенькие, бледные былинки, прорвавшиеся к свету сквозь земные толщи, спустя всего немного лет превратились в мощные, цветущие буйным разно-

правьем просторы художественного самовыражения. Об этом я даже проговорился в присутствии родных и близких писателя после его смерти. Помнится, тогда бросил мне реплику Д.Ф.Снегин: “Талантами рождаются, а не становятся”. Разумеется, талант — качество врожденное, но не заговорит, если не получит развития. Феномен таланта требует огромных усилий, преодоления множества препятствий, мужества, упорства в достижении цели, полной отдачи физических и умственных сил. “Постоянный труд есть закон как искусства, так и жизни”, — считал гениальный Бальзак. Это сполна постигнет зрелый писатель Иван Шухов, а пока он неосознанно тянется к литературному творчеству, отдавая ему все свободное время и душевные силы.

Ради этого он продлит разлуку с родной Пресновкой и поедет в Омск, поступит на рабфак. Это учебное заведение отнюдь не было храмом науки, более того, по признанию самого Шухова, его ректор прослыл преследователем “всяких там писак”. Но сам Омск очень даже располагал к литературным занятиям. Здесь жили Антон Сорокин, самобытный и оригинальный сочинитель рассказов и повестей, начинали творческий путь Леонид Мартынов, Андрей Алдан-Семенов, Евгений Забелин и другие. Каждый со своими литературными вкусами и амбициями. Молодой Шухов быстро вписался в эту среду. Он много пишет и много печатается. Пишет в основном стихи. Газета “Пролетарский студент” (Омск) в конце 1925 года посвящает молодому рабфakovцу следующие строки: “Ив. Шухов — деревенский паренек. Он совсем недавно “ушел от девчат, обрадованный, в дальний город” — на рабфак. Стихи у него, конечно же, деревенские: тишина “сонных степей”, ночные посиделки под “сонливым небом”, девичьи “проголосные песни”... Стихи у него раздумчивые, спокойные, ясные, “есенинские”. Но не в этом одном их ценность. Важно то, что поэт не проходит мимо тех явле-

ний деревни, в которых чувствуется формирование новой жизни...

Здесь-то и обнаруживается, что автор, несмотря на крайнюю свою молодость, чувствует (если не знает) некоторые малые величины из “железной алгебры революции” (Воспоминания об Иване Шухове. Алма-Ата, 1979, с. 89—90). Сам же молодой стихотворец считал, что пишет стихи, “чтобы научиться писать прозу” (там же, с. 34).

Крылья крепнут в полете. Недавний “юнкор степи” испытывает свои крылья, пробуя взлететь все выше и выше. Он погружен в поиски своего образного слова, своего видения жизни — теперь уже не в стихах, а в очерках и репортажах. “Пишу о людях и жизни” — этот девиз становится его творческим кредо. Действительность он воспринимает такой, какая она есть. Однако не бездумно, а критически оценивая события, особенно перегибы в годы сплошной коллективизации. К сожалению, не написана еще более или менее обстоятельная биография И.П. Шухова. А она чрезвычайно богата событиями и фактами, раскрывающими незаурядную его личность как писателя и как гражданина. Сам Иван Петрович намечал рассказать о себе в цикле автобиографических повестей. Он успел дать читателям лишь первые три: “Колокол”, “Трава в чистом поле” и “Отмерцавшие марева”. Дальше собирался рассказать еще о многом: и о событиях революции, и о Гражданской войны, и о кулацко-эсеровском мятеже 1921 года в Приишимье, и о юнкорстве в “Юном степняке”, и о своей “скитальческой жизни” разъездным корреспондентом по просторам Сибири и Урала... В плане одной из последних повестей было обозначено:

“Перегибы. Бойкоты. Покушение на меня в с. Куртамыш Курганской области. Мой арест — месть за разоблачительную мою корреспонденцию о перегибах районных властей в с. Крутоярово”.

Как жаль, что всего этого мы подробнее не знаем!

Многочисленные очерки, статьи, рассказы, стихи отложились на страницах периодических изданий Сибири и Урала: газет “Советская Сибирь”, “Волжская коммуна”, “Красная Башкирия”, “Уральская областная крестьянская газета”, а также ряда центральных изданий: в журналах “Рост”, “Журнале сельскохозяйственной молодежи” и других. “К литературе пришел я от газеты”, — справедливо считал Шухов. Работа в периодической печати обогатила его тематически, дала “очень много в тренировке глаза и уха, в развитии наблюдательности”...

“Шухов всюду видел темы, сюжеты, острые ситуации для творчества, где кипела жизнь, а прошлое переплеталось с настоящим и история обогащалась за счет новых событий”, — вспоминал А.И. Алдан-Семенов, начинавший свой творческий путь вместе с Иваном Петровичем в Омске. Молодой Шухов уже в те годы стремится писать не так, как все, а выражать свои мысли и чувства метафорично, по-народному выразительно и броско. Вот некоторые примеры:

“Поджарая, с пустоцветом раскосых глаз сторожиха вернулась с крепким дыханьем осенних сумерок” (“Будни”, очерк, 1925).

“Кочевали степями сентиментальные легенды... И чахли вместе с чернобыльником” (там же).

“Расцветают уродливые мазанки, в зелень врастают” (“Ломь”, рассказ, 1926).

“Настя гумном на поскотину крадучись скользила. Ныли плечи, спина ныла от тяжелого кулака отца. Мать не заступилась. Сыпала руганью громкой... Месяц за гребень леса сполз” (там же).

Позже он избавится от нарочитости и вычурности эпитетов и кричащих метафор, выработает свой неповторимый, образный шуховский стиль. А покуда он “бороноволок” — взрыхляет пашню и готовится к большо-

му посеву... И все чаще снятся ему родимые пресновские степи. И люди, живущие там, их радости и невзгоды.

Шел 1929 год, когда Иван Шухов приехал в Москву и попросился на работу в редакцию газеты “Батрак” (позже “Сельскохозяйственный рабочий”). Молодой, простоватый на вид, “коренастый, широкоплечий крепыш”, быстро стал своим, вызывая уважение и симпатию коллег. Жил он в проходной комнатухе, где не то что работать, но и повернуться было негде. Да и редакция размещалась в тесноте, как правило, работали вдвоем за одним столом. Шухов приходил на час-полтора раньше других и к полудню успевал управиться с редакционными обязанностями. А потом, по договоренности с ответственным секретарем редакции М.А. Величко, пересаживался за так называемый “чайный столик”, за которым под шум и галдеж и свершалось таинство шуховского творчества. “Не могу больше терпеть — писать надо, пока кипит, пока не остыло”, — такие доверительные признания, самозабвенную работу начинающего писателя с большой достоверностью описывает в своих воспоминаниях М.А. Величко, сам автор многих известных книг.

Через год готов роман “Горькая линия”. За тем же “чайным столиком” еще через год родился второй роман “Ненависть”. Первый отдельной книгой увидел свет в 1931, а второй — в 1932 году. “Хороший роман, написанный в двадцать лет, всегда чудо”, — утверждал Андре Моруа, глубокий исследователь и знаток природы литературного творчества, автор замечательных эссе и книг о многих представителях французской словесности.

Романы Ивана Шухова, написанные им в двадцать с небольшим лет, поистине были чудом. Его имя встало в ряд самых известных писателей своего времени, а ведь с поры юнкорства прошло всего семь лет. Романы, созданные единым взрывом молодой творческой энергии, по-

корили читателей. Феномен таланта выходца из сибирского казачьего сословия, написавшего “очень хорошую книгу”, был радостно замечен А.М. Горьким. “...Автор — человек даровитый, к делу своему относится вполне серьезно, — напишет он в письме молодому Шухову по поводу романа “Горькая линия”, — будучи казаком, находит в себе достаточно смелости и свободы для того, чтоб отобразить казаков с беспощадной и правдивой суровостью... Вы — как будто были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображаемых Вами, ...Вы — как бы подслушали все мысли, поняли все чувствования всех Ваших героев. Вот это и есть подлинное, настоящее искусство изображения жизни силою слова” (курсив мой. — А.Х.). В том же письме А.М. Горький указывает на “кое-какие промахи” в языке и стиле и заключает: “Долой все словесные ухищрения, фокусы, затейливые красоты! Пишите строже, проще, Вы это умеете”. Эти советы станут для зрелого Шухова неукоснительным правилом.

“Очень значительным произведением” считал Горький роман “Ненависть” и неоднократно призывал критиков рассматривать его в одном ряду с “Поднятой целиной” М. Шолохова и “Брусками” Ф.Панферова. Следует заметить, что роман Шухова “Ненависть” почти на год опередил появление на свет первой книги “Поднятая целина” М.А. Шолохова. “Ненависть” была опубликована в журнале “Октябрь” в 1931-м, а “Поднятая целина” — в журнале “Новый мир” в 1932-м году.

Затем последовали публикация “Ненависти” в “Роман-газете” (1932, №№ 7—8), переиздания романа отдельными книгами, и всякий раз взыскательный автор вносил в него существенные изменения как стилистического, так и содержательного характера. Только за два года (1932—1933 гг.) “Ненависть” выдержала восемь изданий общим тиражом 800 тысяч экземпляров.

Роман был переведен на немецкий, французский, чешский, испанский, румынский и другие языки.

Между тем Иван Шухов всецело охвачен новыми творческими заботами. Им задумано новое большое произведение и уже написаны вчерне отдельные главы. Быть может, он назовет третий свой роман “Поединок”. Действие его происходит в тех краях, откуда родом сам автор, — в Северном Казахстане, в конце двадцатых годов, характерных остротой неоднозначных явлений тогдашней действительности. Когда рукопись будет готова, автор откажется от первоначально задуманного названия и нарекнет роман емким словом “Родина”. А пока ему не удастся сосредоточиться в работе над рукописью. Его отрывают то кинематографисты, то театральные деятели. Одни просят написать пьесу, инсценировку по его популярным романам, другие настаивают на экранизации “Ненависти”.

На все нужно время, душевное расположение, и Шухов не может отмахнуться от настойчивых предложений.

В 1933 году Шухов решает переселиться из Москвы в родную Пресновку. “Послушался совета Горького, — говорит он одному из друзей — Алдану-Семенову. — Работаю над новым романом “Родина”, но дается трудно. Показывал рукопись Горькому, многое хвалит, но многое и ругает. Говорит, сделав большой шаг вперед первыми романами, нельзя возвращаться назад. И он прав, совершенно прав”.

Отметив торопливость, с которой написано новое произведение Шухова, Алексей Максимович предупредил автора: “Если Вы напечатаете в том виде, какова она есть, — Вы ее погубите, а переработав — дадите ценную книгу, — в последнем я убежден”. И настойчиво, зная цену таланту молодого писателя, добавлял: “Вам следует работать над собой много и серьез-

но, у Вас хорошес, здоровос, революционное дарованне, его необходимо расширить, углубить”.

Не прислушаться к советам “патриарха советской литературы” Шухов не мог. Он много ездит по селениям, ведет долгие разговоры с пахарями колхозов и совхозов, старается понять и осмыслить жгучие явления той действительности, которая была полна противоречий — и радостей, и лиха. В зимние метельные дни Иван Петрович, не поднимая головы от письменного стола, пишет и пишет... Но все же той усидчивости, которая утвердилась за “чайным столиком” в редакции московской газеты, у него нет. Отвлекают и земляки-одностаничники, и различные общественные дела районного, а подчас и союзного масштаба.

В августе 1933 года И.П. Шухова наряду с А.Н. Толстым, А.С. Новиковым-Прибоем, М.А. Шолоховым и другими виднейшими писателями вводят в состав Оргкомитета Союза советских писателей СССР. Председателем избирается А.М. Горький.

Присутствие на заседаниях Оргбюро его членам обязательно. Пресновчанину Шухову — тоже, и он несколько раз выезжает в Москву. В марте 1934 года Оргкомитет ССП проводит вечер казахской литературы. После доклада И. Джансугурова выступают С. Муканов, С. Сейфуллин, А. Тажибаев, И. Шухов и другие.

Значительным событием в жизни И.П. Шухова в 1934 году стал I Всесоюзный съезд писателей. Он проходил в торжественной обстановке в Колонном зале Дома Союзов с 17 августа по 1 сентября. Иван Петрович избирался делегатом всех последующих писательских съездов, но самым дорогим, самым волнующим остался навсегда в его впечатлительной душе этот, на котором он слушал неторопливую, окаяющую речь основного докладчика А.М. Горького, выступления соотечественников и зарубежных гостей. “На всем пространстве Союза Социалистических Республик, — говорил

Алексей Максимович, — быстро развивается процесс возрождения всей массы трудового народа “к жизни честной — человеческой”, к свободному творчеству новой истории...” Лицо Шухова, слушавшего доклад А.М. Горького, “было одухотворенным, — заметит в воспоминаниях о нем М.А. Величко, — брови то сдвигались, то взлетали вверх, губы вздрагивали, словно что-то шептали”.

Возвращение из Москвы своего знаменитого земляка пресновчане встретили хлебом-солью, лаской, — ай да наш Ванюша! — нескончаемыми просьбами: расскажи — как да что? С той же просьбой приглашают его выступить на Пресновском районном съезде Советов. Иван Петрович просто и доступно делится в своей речи волнующими его мыслями о месте литературы в жизни.

“Мы, писатели, названные “инженерами человеческих душ”, призваны рассказать в своих книгах о всем замечательном, ярком, небывалом, интересном в нашей стране”, — говорит он. Далее, отвечая на вопросы, почему он живет не в Москве, а в Пресновке, объясняет: “...Я живу в деревне потому, что пишу о деревне. А для того, чтобы хорошо и правдиво писать о деревне, надо хорошо знать ее. Для того же, чтобы знать ее, не следует от нее отрываться...” И еще: “Одного таланта для того, чтобы стать писателем мало. Для этого нужна огромная работа, огромное терпение, длительное и упорное изучение того материала, над которым мы работаем”...

Между тем судьба уготовила Ивану Петровичу знакомство и доверительно-дружеские отношения с человеком, который с марта 1934 года стал первым секретарем Карагандинского обкома партии. Им был Максим Кирович Аммосов, “легендарный якут”, как его спустя десятилетия назовет писатель Леонид Соболев.

Об одной из встреч Аммосова и Шухова, весьма возможно — первой, рассказал в статье “Обладатель большого сердца”, посвященной 80-летию Ивана Пет-

ровича, старейший казахский писатель Дихан Абилев (“Казак адебиети”, 1986 г., 15 августа). Дихан-ага ошибся только в дате встречи — она произошла не в 1933 году (тогда Аммосов работал и жил в Уральске), а в 1935-м. Центром огромной, вытянувшейся с севера на юг Карагандинской области являлся Петропавловск. Аммосов там жил и работал с середины марта 1934 года.

Человек необычайной организованности, дисциплины и исключительной работоспособности, Аммосов всю свою короткую жизнь следовал требованиям, которые были сформулированы так: “Все исполнять вовремя. Точно, минута в минуту. Экономь время, уплотни время, быстро работай... Упорно добиваться поставленной цели. Напор — не отступать при неудачах, доводить до конца начатое”.

Цельная личность Аммосова, его нравственная чистота, богатство духовного мира, скромность вызывали глубокую симпатию к нему всех, кто с ним общался. Шухов не был исключением.

Д.Абилев, в ту пору заместитель редактора областной газеты, рассказывает, как Шухова, приглашенного в кабинет первого секретаря, Аммосов радостно обнял и долго не выпускал из своих объятий. Можно было подумать, что встречаются после долгой разлуки очень близкие друзья. Оба были схожи ростом, статью, точно близнецы. Разнились лишь цветом глаз и кожи: один — якут, другой — русский. Они очень долго вели беседу, к сожалению, Дихан-ага не все запомнил. Но в памяти сохранилось предложение, которое сделал Шухову Максим Кирович: переехать в Петропавловск на постоянное жительство и возглавить, если есть желание, редакцию межобластной газеты.

— От всей души спасибо, — ответил Иван Петрович. — Считаю ваше предложение большой честью для себя. Однако не могу стоять в стороне от бушующего

потока жизни, отойти от нее в сторонку... Как вам известно, я — писатель. Мое место в обществе связано с литературой. Я должен жить в деревне, ибо настоящее произведение искусства обязано отражать жизнь во всех ее проявлениях... Книги, которые пишутся без знания подлинно народной жизни, — “несъедобны”, как мерзлая картошка...

— Отлучить вас от Пресновки — все одно что оторвать младенца от материнской груди, — ответил Аммосов. — Не будем отрывать вас, Иван Петрович, от творческой работы. Пишите, создавайте новые произведения, а мы постараемся создать необходимые условия для этого.

С первой же встречи Шухов своим писательским чутьем угадал в Аммосове человека, равнодушного к литературе. Правда, он еще не знал, что Максим Кирович с юных лет был связан теснейшей дружбой с видными писателями и поэтами родной Якутии. Это ему, Аммосову, посвятил свое лучшее произведение “Красный шаман”, классик якутской литературы П.А. Ойунский. Посвящение было написано в стихах:

Максим! Ты мне, как брату, говорил:
“Цени слова, не распыли их пыл,
Не отступайся от мечты своей,
Не падай, не сдавайся, не робей!..”
Да будет так, как ты сказал, Максим!
Да светит свет твой над путем моим!

Свет Максима Кировича в годы его работы в Казахстане своей дружеской теплотой озарял и творческий путь Ивана Петровича Шухова. Аммосов часто навещал его в Пресновке. Один его приезд был связан с проведением слета сибирских казаков 1 августа 1936 года. На широкой площади станицы выстроились конные казаки. Праздник сопровождался джигитовкой, рубкой клинками лозы, соревнованием в стрельбе. Шухов

молодцевато восседал на буланом строевом коне. Аммосов произнес импровизированную речь, собравшиеся ответили дружным “ура!”. Затем с докладом выступил Иван Шухов.

Участники слета приняли письмо, адресованное крайкому партии и правительству Казахстана. “Если враг попробует перейти границы нашей Родины, — говорилось в нем, — то сибирские казаки выставят десятки боевых казачьих сотен против врагов советской страны”. Аммосов побывал в доме, в котором жил писатель. Разговорам не было конца — Максима особенно интересовали творческие дела Ивана Петровича.

Все его советы и наставления можно было бы свести к словам, выраженным романтически приподнято в посвящении Платона Ойунского: “Цени слова, не распыли их пыл, не отступайся от мечты своей...”

Сохранилась одна-единственная фотография, где Шухов и Аммосов изображены вместе. Они сидят в окружении съемочной группы кинофильма “Вражьи тропы” по роману “Ненависть” — кинорежиссеров О. Преображенской и И.Правова, кинозвезды двадцатых-тридцатых годов Эммы Цесарской и еще нескольких человек. Шухов держит в руке теннисную ракетку, а над ним склонился Аммосов. Съемки фильма велись в 1935 году в Боровом. Максим Кирович считал это крупным событием. Как бы ни был занят, он приезжал в Боровое, и не из праздного любопытства, а чтобы помочь творческому коллективу в его сложной работе по воплощению на киноэкране образов знаменитого романа. Фильм широко рекламировался по всей стране. Помню обложки журнала “Огонек” тех лет с броскими фотомонтажами эпизодов и героев “Вражьих троп” с обязательным указанием: по роману И. Шухова “Ненависть”. Исполнителями главных ролей, кроме Э. Цесарской (Фешка), были тоже знаменитости: Н. Плотников (Епифан Окатов), А. Абрикосов (Иннокентий), Б. Тенин (Роман Каргополов), И. Любезнов (сельс-

кий поэт), дебютантка в кино М. Ладынина (Линка) и другие. Шухов галантно ухаживал за актрисами, покупал им на “боны” подарки в золотодобывающем Степняке.

Фильм имел успех, а в Петропавловске долго не сходил с экрана. “Посмотреть его приезжало много сельских жителей, — вспоминает журналист и писатель А.П. Кияница, — для которых герои картины были очень близки и понятны”. Появились и грампластинки с записями песен из этого фильма — “Веселей шагай”, “Позарастили стежки-дорожки”. Последняя стала подлинно народной.

Аммосов относился к литературному творчеству Шухова как к оружию. Оружие идейного, нравственного воспитания масс, хозяйственного и культурного строительства в селах и аулах. Он превосходно знал коллизии и образы “Горькой линии” и особенно “Ненависти”, был знаком с журнальными вариантами нового большого произведения Шухова под названием “Поединок”. Отрывки из него публиковались в 1934 году в журналах “Октябрь” и “Перелом”, а наиболее полный вариант романа, названный “Родина”, — в 1935 году в трех номерах (№№ 8—10) “Октября”. Не думаю, что между писателем и руководителем области, в которой происходят события романа, не было обмена мнениями. Наверняка были, может быть, и принципиального порядка. Не случайно “Родина” в окончательной редакции увидела свет в Гослитиздате и Казкрайиздате в 1936 году с посвящением М.К. Аммосову.

М.К. Аммосов в своих докладах и выступлениях подчеркивал актуальность и художественную ценность романов Шухова. Так, 8 января 1936 года в заключительной речи на пленуме обкома партии он упрекнул актив, что мало изучают художественную литературу. “В особенности слабо пропагандируем, — сказал он, — труды своих казахстанских писателей: Шухова,

Майлина, Сабита Муканова... Великолепные романы Шухова “Ненависть”, “Родина” и другие его произведения надо сделать достоянием каждого трудящегося. Шухов, наш карагандинский писатель, стал нам еще более близким — постановлением ЦК ВКП(б) он принят кандидатом в члены партии”.

Пройдет немного времени, и последнее поставят в вину Аммосову. Произошло это экстраординарное событие в те годы, когда прием в партию временно был прекращен. Но инициатива приема И.П. Шухова кандидатом в члены партии исходила от ЦК ВКП(б) и рассматривалась непосредственно там. Это было своеобразным актом признания творческих заслуг И.П. Шухова, что горячо поддержал и М.К. Аммосов.

Казалось, жить да радоваться недавнему “юнкору степи”, за фантастически короткий срок ставшему признанным писателем страны, отнюдь не бедной на литературные таланты. Ему всего-навсего 30 лет. Но... “покой нам только снится” — мог бы сказать он себе. Радость творчества подавлялась тревожными переменами в повседневности: нарастанием вируса подозрительности, неблагожелательности людей друг к другу, грубого доноительства. На пороге стоял 1937-год...

Опустошали душу и семейные неурядицы, переросшие со временем в неразрешимый конфликт. В 1930 году Иван Петрович женился на москвичке Белле, сестре журналиста Залмана Румера, с которым работал бок о бок в газете “Сельскохозяйственный рабочий”. Поначалу все шло полюбовно, в мире и согласии. С переездом из Москвы в Пресновку все потекло по-иному.

Как невозможно было привить тепличный цветок к степной полыни, так и москвичке Белле трудно было вжиться в непривычные условия быта казачьей станицы. Досаждали усмешки, колкости, а порой и непристойные высказывания кондовых хранителей казачьих устоев. Белла требовала возвращения в Москву, часто

уезжала туда одна. Как бы терпеливо ни объяснял ей муж, что на это он не может пойти, требования сопровождались слезами, бесконечными упреками. Тут пришло и горе: умер их трехлетний сын Сережа. Иван Петрович был в неистовстве: “Не уберегла! Тебе бы только в Москву!” После одной бурной перебранки Белла уехала в Москву навсегда. Оставалось одно — развод. Шухов долго не мог прийти в себя. В письме от 4 декабря 1936 года А.А. Есениной и ее мужу П.И. Ильину, с которыми Иван Петрович был в тесной дружбе, он сообщал: “Работаю неровно, нервно. Виною этому, безусловно, проклятый 36-й год, причинивший мне столько катастроф и потрясений...” А потрясли Шухова в том году не только нелады в личной жизни, но и кончина бесконечно дорогого Алексея Максимовича Горького.

Когда писал эти строки, Иван Петрович и не подозревал, что на него катится лавина еще более грозных потрясений. 9 мая 1937 года в “Комсомольской правде” было опубликовано, по выражению Г.А. Бровмана, “скандально-безобразное письмо” под названием “Личная жизнь писателя Шухова”. Статья занимала две колонки газетной полосы и была подписана инициалами “В.В.”. По ее тексту можно было предположить, что этот анонимно-конспиративный автор — кто-то из родителей бывшей жены Шухова. Имя ее не называлось. И еще одна странность: публикация сопровождалась сообщением, что в тот же день, когда появилась в печати, т.е. 9 мая 1937 года, она обсуждалась на заседании правления Союза писателей и без обвиняков признана... правильной. Спрашивается — как же успели? Такой оперативности могла бы позавидовать любая пожарная команда. Ясно одно, что все свершилось по заранее намеченному сценарию. Председательствовал при этом В.П. Ставский, ставший после смерти А.М. Горького ответственным секретарем ССП.

Написанная в духе компромата 1937 года — развязно, в устрашающе грозном, разоблачительном тоне, статья обвиняла Шухова в “распутной жизни” и во множестве грехов. Автор (или авторы?) ее не постеснялись подвести всем этим “грехам” и политическую подоплеку. Они строчили: “Так как жена мешала Шухову “творить”, он отправил ее в Москву, к родителям. Вскоре в Москву пожаловал сам писатель... В то время ближайшими друзьями его были П. Васильев, Макаров и другие такие же типы”... Какое лицемерие! Далее таинственный В.В. называет Павла Васильева “бандитом”, а Шухов, дескать, считает его “великим поэтом”. Чувствуете, намек на какую “крамолу”? Ведь П. Васильев в те дни находился в тюрьме и вскоре был расстрелян как “враг народа”. Та же судьба постигла несколько позже писателя Ивана Макарова. Статью из “Комсомольской правды” перепечатали газеты Казахстана. Вокруг имени Шухова поднялся вой и визг завистников, любителей сенсаций из круга партийного и советского чиновничества.

Для расследования тенденциозного выступления “Комсомолки” Правление Союза советских писателей командировало в Пресновку своего старшего референта, литературоведа и критика Григория Абрамовича Бровмана. Вначале он встретился с первым секретарем обкома партии Сегизбаевым (Аммосов работал уже в Киргизии). В беседе участвовали и некоторые члены бюро обкома. Чувствовалась определенная озадаченность руководителей области, но и в бесспорности выступления “Комсомольской правды” они очень сомневались.

Более того, Сегизбаев, оговорившись, что в области он человек новый, заявил: “Сегодня я разговаривал с секретарем ЦК Компартии Казахстана Мирзояном, и он, между прочим, сказал, что высоко ценит Шухова

как писателя и что о его произведениях сочувственно говорил ему, Мирзояну, Сталин...”

В Пресновку вместе с Бровманом прибыли старший следователь Прокуратуры СССР Шаблєсв и спецкор “Комсомольской правды” Рохович. Последние были настроены агрессивно, и Шухов понял, что “шьется” дело. К счастью, Бровман оказался человеком на редкость честным и объективным и ни в ходе следствия, ни на суде — он состоялся в Москве 2 августа 1937 года — не поддержал несправедливые, ложные обвинения, за что заслужил упреки в “гнилом либерализме” и в печати, и от руководства ССП. Уж не профессиональная ли ревность руководила при этом Ставским? Ведь о его очерковых повестях “Разбег” и “На гребне” (обе о перестройке в деревне) говорили и писали гораздо скромнее, чем о шуховской “Ненависти”. Как объяснить, что Ставский, присутствуя на судебном слушании “дела” Шухова, “дезаурировал показания” старшего референта руководимого им Союза — якобы они противоречат действительности? Наконец, в качестве кого же выступал на суде Ставский — свидетеля или обвинителя? И о чем же он мог “свидетельствовать”?

Московский городской суд приговорил И.П. Шухова к двум годам лишения свободы — условно. Но преследователи писателя не утихли. Они считали приговор слишком мягким. В печати — той же “Комсомольской правде”, “Литературной газете” и других, — а также от имени Союза писателей последовало сообщение о том, что “дело будет пересмотрено в целях ужесточения наказания”. Цель — не только унижить, оскорбить Ивана Шухова, навсегда “вышибить” его из литературы, а еще желание — загнать его в лагеря.

О всех этих событиях непродуманно и обстоятельно, называя неопровержимые факты и имена, незадолго до смерти поведал в своих записках Г.А. Бровман. В 1978 году он прислал эти бесценные записки сыну И.П. Шу-

хова Илье Ивановичу. Они целиком вошли в документальную повесть Ильи Шухова “Ветер разлуки”, которая увидела свет в журнале “Простор” (1991, № 11).

Свои записки Григорий Абрамович заканчивает так: “В эти тяжкие для Ивана Петровича дни он часто звонил мне домой и однажды вместе со своим защитником И. Брауде — известным московским адвокатом — явился ко мне.

— Я хочу написать Сталину об этом безобразии, — сказал Иван Петрович, — мало им одного суда, они затевают еще и второй. Сталин знает мои произведения, пусть защитит меня от произвола. Сколько можно терпеть?!

Иван Петрович был очень взволнован, возбужден, ничем невозможно было его успокоить... Сели мы за письменный стол и стали сообща составлять письмо Сталину, которое предстояло подписать и снести в ЦК самому Ивану Петровичу.

— Иного пути нет, — сказал опытнейший юрист Брауде, — судейские законопатят вас в лагерь, откуда нет возврата. Нужен сильный, мощный удар. Только Сталин может помочь, только Сталин прекратит эту подлую шумиху, или — каюк!

Сейчас может показаться парадоксальным наше тогдашнее представление о Сталине как о человеке, который может бороться против произвола, каковой, как выяснилось полтора десятилетия спустя, он сам и насаждал.

И тем не менее недели две после того, как Иван Петрович снес письмо Сталину, прошло (или около того), и в “Правде” (и в других газетах) появляется краткое сообщение от Прокуратуры СССР о том, что дело И.П. Шухова ввиду отсутствия состава преступления прекращено... Так было смыто незаслуженное пятно...”

Но совсем ли? Долго еще не мог найти себя и свое место в жизни и литературе Иван Шухов. Долго еще

будет он чувствовать косые, недоверчивые взгляды, холодок в отношении к себе, въедливые придирки к своим произведениям. Клевета что уголь: не обожжет, так замастит. "...Сколько грязи и пошлости было вылито вокруг меня, вокруг моего имени в минувшем году, — откроется он в письме от 3 января 1938 года к Е.А. Рязанской, будущей своей супруге. — В течение многих лет меня с таким же усердием поднимали, с каким пытались было расчитать со мной, уничтожить морально как человека, как коммуниста, как писателя".

Роман "Родина" с энергичным, развивающимся сюжетом, с колоритными, незаурядно выписанными образами, роман, созданный на конкретике жизни со всеми ее тогдашними сложностями, был встречен критикой с равнодушным холодком, а то и несправедливыми, по выражению самого писателя, "критическими прижиганиями".

К тому же с М.К. Аммосовым, кому Шухов посвятил этот свой роман, произошла непоправимая трагедия. Во Фрунзе, где он был избран первым секретарем ЦК Компартии Киргизии, встретили его непрерывными атаками. В "Правде" и других газетах одна за другой появлялись разоблачительные статьи: "Не считаются с сигналами коммунистов", "Буржуазные националисты", "Гнилая политика ЦК КП(б) Киргизии"... В чем только не попрекали в обвинительном тоне в этих опусах Максима Кировича: "...Аммосов не сделал еще решительного шага к освобождению руководящих органов республики от националистических двурушников...", "Аммосов выступил на съезде в защиту националиста Айтматова" (отца Чингиза Айтматова), "Аммосов не желает по-настоящему провести очистительную (!) работу" и т.д. и т.п.

На съезде КП(б) Киргизии, на различных собраниях обнаглевшие обличители в вину Аммосову ставили и прием Ивана Шухова кандидатом в члены партии. Как

бы ни объяснял Максим Кирович, что Шухов — известный писатель и что он был принят в партию по инициативе и согласованию с высшими партийными инстанциями, обличители не унимались: “Нет, Шухов тебе — роман, а ты ему — партбилет! Сделка. И никаких гвоздей!”

После демонстрации 7 ноября 1937 года Аммосов по провокационному обвинению был взят под домашний арест. Через несколько дней его исключили из партии... на собрании городского партактива. Выступили 33 оратора. И все разоблачали!.. И вновь не забыли о Шухове!..

Сотрудник НКВД, некто Кириллин, в своей поразительно бурбонистой и оголтело злобной речи говорил, например, следующее: “Фашистский лозунг, выброшенный Аммосовым, не является случайным, этим выявляется круг его действий (?). В Казахстане писатель Шухов посвятил книгу Аммосову, и он его протасил в партию, ...и этот Шухов попал под покровительство троцкиста...”

Вскоре Аммосов был перевезен из Киргизии в Москву — в Бутырскую тюрьму. И после многих пыток и истязаний на 41-м году жизни расстрелян. Пройдут десятилетия, и Иван Петрович не раз вспомнит М.К. Аммосова, посмертно реабилитированного в 1956 году. Из Якутии просили Шухова написать воспоминания о “легендарном Максиме”. По этому поводу состоялся у нас с Иваном Петровичем продолжительный разговор. “Очень талантливый человек. Умница. Оратор блестящий”, — такими словами охарактеризовал Шухов Аммосова.

В 70-е годы я собирал материалы, чтобы написать книгу об Аммосове. (Она была издана в Алма-Ате в 1988 году под названием “Легендарный Максим”). Биография его оказалась удивительно яркой и богатой событиями, и я рассказал об ее некоторых эпизодах Ива-

ну Петровичу. В частности, о том, как Максим, которому едва минуло 20 лет, по поручению В.И. Ленина вел, преодолевая огромные пространства, подвергаясь смертельной опасности, подпольную работу в колчаковском тылу. Иван Петрович был поражен и почти выдохнул: “До чего скромным человеком, оказывается, он был! Ведь ничего не рассказывал!”

”Правота — что лихота: всегда наружу выйдет” — эту истину хорошо знал Шухов. Знал и другую народную мудрость: “И в напраслине, что в деле, люди погибают”.

В вышеупомянутом письме Е.А. Рязанской он писал: “...Я расскажу... как-нибудь, кто были эти люди, пытавшиеся учинить расправу со мной, чем они руководствовались, что из этого вышло и чем они сами кончили”. Но подобные намерения в душе писателя жили недолго — он не был мстительным человеком. Жизнь сама наказала одного из виновников. И очень жестоко.

Итак, кто же был автором той злобной статьи в “Комсомольской правде”, едва не приведшей Ивана Шухова к трагическому финалу? Конечно, Шухов знал этого лицемера, прикрывавшегося личиной “общественности”. Им был брат Беллы Залман Румер, член редколлегии “Комсомолки” в 1934-1938 годах. Нечаянно-негаданно мне привелось встречаться с этим человеком в начале 50-х годов в Петропавловске. Тогда я работал заместителем редактора североказахстанской областной газеты. Ко мне явился седой, с выцветшими глазами мужчина и заявил: “Я — Залман Румер. Бывший член редколлегии “Комсомольской правды”. Был осужден и выслан на 10 лет на Колыму по делу Косарева (первого секретаря ЦК ВЛКСМ. — А.Х.), а теперь я на поселении в вашем городе. Отмечаюсь каждые десять дней в органах госбезопасности. Работаю чернорабочим на мясокомбинате. Но я хотел бы быть полезным как журналист. Примите хотя бы корректором”. Трудоустроить

его в ту пору по профессии нечего было и думать, но он приходил в редакцию еще и еще.

В один из дней, проведав о приезде И.П. Шухова в Петропавловск, ссыльнопоселенец стал искать с ним встречи. Иван Петрович находился в кабинете редактора. Румер не посмел туда зайти и попросил у меня разрешения поговорить с Шуховым по телефону. Позвонил, но разговор не состоялся — Шухов, услышав его имя, бросил трубку. Я не знал о причастности Румера к “шуховскому делу” и подумал, что писатель избегает разговоров с сомнительными лицами.

Сейчас же гадаю: что же хотел Румер — примирения, покаяния? С самим Шуховым я не заводил разговора о несостоявшейся встрече бывшим коллегой.

Медленно оттаивал лед, сковавший писательский талант Шухова. Еще Гете изрек: “Таланты образуются в покое, характеры — среди житейских бурь”. Отныне Шухов будет более взыскателен к себе, хотя “житейские бури” сковали на время его щедрую душу. Где те дни, когда он самозабвенно, “запойно”, легко преодолевая “сопротивление материала”, писал за “чайным столиком” шумной московской редакции свои первые романы? По утрам он обливается ледяной водой — это останется привычкой на всю его жизнь — и, торопливо позавтракав, садится за письменный стол. Подспудно он чувствует, что выбит из творческой колеи, но напрягает все усилия, чтобы взнудать свое Богом данное дарование и, не поднимая головы, писать и писать. Подчас им овладевает лихорадочное чувство неуверенности в себе. В письме П.Н. Кузнецову от 2 января 1940 года он признается: “...Среди героев моих поднялся полный бедлам (речь о персонажах романа “Действующая армия”. — А.Х.). Люди нервничают, плачут,

дерутся, рвут на себе в смятении волосы, а вместе с ними и я, растерявшийся и беспомощный автор”.

В другом письме тому же Кузнецову от 16 февраля 1940 года Шухов исповедуется так: “Работы еще впереди много. Не знаю, Паша, как я вылезу из этой каторги. Тревоги, сомнений — хоть отбавляй. Трудно бывает. Но я мужаюсь... Вы, мои алмаатинские коллеги, пишете мне с прохладцей, а подчас и с этаким, понимаете ли, великосветским холодком. Забываете, что меня тут забуровило снегом, заметелило, занесло...”

“Действующая армия”, рассказывающая о судьбах сибирского казачества в годы первой мировой войны, была издана в 1940 году Казгослитиздатом. Критика молчала, сам автор выказывал недовольство своим новым произведением, хотя в нем немало было великолепно выписанных сцен и персонажей, лирико-эпических страниц. Спустя годы Иван Петрович, по выражению критиков, “растворил” роман “Действующая армия” в романе “Горькая линия”, то есть объединил два романа в один.

С 1937 года И.П. Шухов живет попеременно то в Алма-Ате, то в родной станице. Он пишет прекрасные публицистические, окрашенные глубоким лиризмом вещи (“Поэма о возвращенном зерне”, “Письма сибирским казакам”), переводит на русский язык произведения М. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мустафина и ищет, настойчиво ищет своей романной темы, основанной на коллизиях современности. Он обречен писать. В письме автору популярного в свое время деревенского романа “Лапти” П.И. Замойскому в 1943 году Шухов сообщает: “Пишу сейчас большой роман. И удивляюсь, как это не мог я писать этого раньше... Пишется, правда, нелегко. Но работаю я много и с таким душевным подъемом, какого не испытывал, по правде говоря, со времен “Горькой линии” и “Ненависти”... А называю вещь условно пока так: “Русский роман”. После Шухов передумает,

возникнут другие названия: “Мы из Сибири” и, наконец, “Метель”. Да, “Метель”... В стране, где живут его герои, да и сам автор, трещат лютые морозы и метут бесконечные метели — еле устоишь на ногах. Он слышит, как по ночам гулко взрываются ледяные толщи, сковавшие степные озера.

“...Пришло, наконец, настоящее название вещи — “Метель”. Правда, хорошо? — поделится своей радостью Шухов в письме Е.А. Рязанской. — В этом слове, мне думается, есть все: и поэзия, и политическая сущность вещи, и некая колоритность для места действия — степная Сибирь”.

Фрагменты “Метели” были опубликованы в газетах и журналах, в том числе под названием “Накануне” в 1946 году в журнале “Сибирские огни”. В более полном, хотя и незавершенном виде эта повесть увидела свет в 1963 году в журнале “Простор”.

Всеволод Иванов, ознакомившись еще в 1946 году с рукописью отдельных глав “Метели”, оповещал главного редактора журнала “Октябрь” Ф.И. Панферова о том, что “роман обещает многое. Он написан хорошо, отличным языком, психология героев очерчена тонко... Недостатком романа, быть может, является одно — слишком медленное развитие действия. Впрочем, я только гадаю, не больше”.

Может быть, останется навсегда загадкой, почему же Шухов, не доведя до конца, забросил этот свой роман. Талант тоже живет закономерностями жизни, и всякие перемены сказываются на нем. Наступали дни хрущевской “оттепели”. Степные шири Казахстана стали главной ареной освоения целинных и залежных земель. Шухову кажется, что настал день, когда он сможет сказать новое слово о жизни и людях родного ему края. Начинает с очерков — их просят наперебой самые влиятельные московские издания. Очерки Шухова звучат пронзительно бодро и даже торжественно, каждое сло-

во в них звенит как песня. В них, как и в крупных произведениях писателя, щедрое “половодье поэзии, мир поэтической стихии, песенности, потаенной мелодии” (Е.В. Лизунова).

“Золотое дно” — так назовет Шухов одну из книг очерков, издававшихся в Москве. “...Небывалый в этих краях урожай поднялся во весь свой богатырский рост, — радуется писатель. — Наяву он был прекраснее былых прадедовских мечтаний. И в степях вместо мертвой зыби пепельных ковылей ходуном ходило, колыхалось теперь живое, золотое море пшеницы”.

Иван Петрович — частый гость покорителей целины. Среди них он видит разных людей — и истинных хозяев земли, и тысячами наехавших сюда в погоне за удачей пустозвонов и бездельников. В целинном совхозе “Молодежный” Булаевского района писатель знакомится с семейством Жигаловых, потомственных сибиряков, исконных хлеборобов, всю ночь напролет проводит с ними в беседах. И напишет вскоре на одном дыхании “Зимнюю повесть”, в которой каждое слово — образ, каждое слово — от души.

“Жи-га-ловы! Фамилия-то как звучит! — восхищался Иван Петрович, рассказывая мне о своей радостной находке. — Главных героев моего нового романа я непременно назову: “Жигаловы!” Но роману не суждено было родиться. Почему? Это требует глубокого исследования, как и все послевоенное творчество И.П. Шухова. Весьма возможно, отвлекла его поездка в 1959 году в Соединенные Штаты Америки и последовавшая за этим работа над художественно-публицистической книгой “Дни и ночи Америки”. Надо сказать и то, что Иван Петрович в те годы был весьма непоседливым человеком — не успеет прилететь из Пресновки в Алма-Ату и вскоре пускается в обратный путь. “Да, летаю часто, — признавался он. — Так часто, что порой не знаю — приземлюсь ли я...”

Приземлялся И.П. Шухов, к счастью, всегда удачно. Популярность его как писателя и общественного деятеля непрерывно росла. Его дважды избирают депутатом Верховного Совета Казахстана, награждают двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов.

Одиннадцать лет он возглавляет редакционную коллегию журнала “Простор”, который через год-два поднимется на уровень таких центральных изданий, как “Новый мир”. Помню, будучи в начале 70-х годов в Ленинграде, как литераторы северной столицы высоко ценили “Простор”. Меня, казахстанца, они просили, почти умоляли найти и выслать им номера шуховского журнала с публикациями произведений, не пробившихся в печать ни в Москве, ни в Ленинграде.

Иван Петрович искренне радовался приходу в казахстанскую литературу новых молодых талантов, в частности, Ануара Алимжанова и Олжаса Сулейменова. Он писал: “Очень многим подкупает — меня лично — Олжас Сулейменов. Редчайшим поэтическим дарованием. Культурой. Самобытностью. Личным обаянием”.

Лебединой песней самого Шухова явились три повести, объединенные общим названием “Пресновские страницы”. За эту книгу ему была присуждена Государственная премия Казахской ССР. “Пресновские страницы”, по задумке писателя, были лишь началом цикла повестей автобиографического характера, в которых сквозь “призму времени” он намеревался рассказать о многом: и о потрясениях, вызванных революцией, гражданской войной, коллективизацией крестьянских хозяйств, и о том, какие неодолимые жизненные силы таятся в народе. “Работаю с большим душевным светом”, — признавался он в одном из своих писем. “Пресновские страницы” написаны вот с этим “большим душевным светом”. Они были восприняты и читателями, и крити-

кой как изумительные по своим краскам и лиризму произведения подлинного мастера слова.

И.П. Шухов, испытавший на себе все радости и превратности жизни и литературного труда, скажет однажды: “Все-таки очень и очень жестокая вещь искусство. Оно требует от нашего брата полной отрешенности, внутренней собранности и совершенно чудовищной работы. Только тогда выйдет толк из Божьего дарования”.

Может быть, в этом и заключается феномен таланта, призванного служить правде жизни.



Слушая песню акына Джамбула.



С писателем Сергеем Марковым и Николаем Ановым.



Участники Третьего съезда писателей Казахстана: Павел Кузнецов, Иван Шухов, Сабит Муканов, Михаил Шолохов.
Алма-Ата. 1954 г.

О делах литературных.
Иван Шухов,
Габиден Мустафин,
Габит Мускрепов.



И.П. Шухов с дочерью и сыном Ильей. 1959 г.

БЛАГОВЕСТ ШУХОВСКОГО СЛОВА

Мне кажется, и по сей день я вижу его глаза сквозь несомненно толстые стекла очков, расстегнутый ворот рубашки с короткими рукавами, слышу слегка хриловатый, с добродушной ворчинкой шуховский басок.

Вижу отнюдь не такого мэтра литературы, раздающего направо и налево “полезные рецепты”, кому и о чем писать, каким порой предстает он в иных воспоминаниях, а вижу неординарного, не укладывающегося в привычные схемы обывательских представлений о большом писателе человека, которого “аршином общим” не измерить.

Нет, не давал он ни готовых писательских рецептов, ни расхожих советов, ни менторских наставлений, а когда читал чьи-либо писания, изредка неопределенно хмыкал, если натыкался на что-то спорное или из ряда вон выходящее, то ли одобрительно, то ли снисходительно поблескивал стеклами очков. И если видел в творениях автора хоть какую-то изюминку, был душевно щедр, поддерживал его и “милел людскою лаской” к своим землякам, от которых рад был услышать любую весточку с милой сердцу и такой далекой от Алма-Аты родины.

Он был до застенчивости скромнен (это, наверное, одно из главных достоинств большого таланта). И ког-

да я, находясь в Алма-Ате, прочитал в рукописи тогда еще неизвестный и нигде не опубликованный цикл повестей с общим названием “Пресновские страницы” и предложил первую публикацию сделать на его родине, в нашей областной газете “Ленинское знамя”, он, автор ставших классикой произведений “Горькая линия” и “Ненависть”, редактор второго в Союзе по популярности после “Нового мира”, возглавляемого Александром Твардовским, литературно-художественного журнала “Простор”, неловко хмыкая и смущаясь, сказал:

— А что, в самом деле, неплохо бы. А тебе не скажут, что это ты насчет Шухова буровишь? Это же газета, а не журнал!

— Так вы же, Иван Петрович, чуть ли не стихами в прозе написали о нашем крае, нашей родине. И именно ваши земляки должны стать первыми читателями этой вещи, — убеждал я истинного писателя.

— Печатать!

И я рад, что, благодаря тому разговору, в нашей газете “Ленинское знамя” впервые увидели свет его, словно освещенные солнцем, удивительно светлые, проникновенные и душевные “Пресновские страницы”. Это уже потом, спустя время, они станут не менее значимыми, чем шуховские “Горькая линия”, “Ненависть” или целинные очерки, выйдут многотысячным тиражом, будут названы жемчужиной русской словесности в предисловии к серии “Отрочество”, выпускаемой одним из самых престижных московских издательств “Детская литература”, и, наконец, И.П. Шухов будет удостоен за свои замечательные произведения Государственной премии республики.

И я уже не раз отмечал, что тем и дорого нам его творчество, что он открыл не только своим землякам, но и всем читателям нашу прекрасную страну — При-

ишимье, откуда мы родом, и населил ее характерами самобытными, мужественными, мятежными.

Открыл неяркую, но поистине диковинную красоту родной земли с ее незатейливыми березовыми перелесками, трубным кличем лебедей на рассвете, проголосной девичьей песней, с запахами полыни, хлеба, пахнущего домом, теплой маминой щекой, сухими горячими ее руками, открыл североказахстанскую степь, которая, как справедливо отмечала критика, пролегла, благодаря лебединому взмаху его таланта, одной из ярких страниц в литературе.

Интересно, увлекательно нам в шуховской самобытной стране, в которой так и слышим перешепот ковылей, шум дальнего леса, легкое ржанье коней у водопоя, видим “разливанное море шафранно-желтой пшеницы, голубых овсов и молочно-белесых ячменей” окрест станицы Пресновской, в которую вот уже много лет подряд, как ручейки в большое весеннее половодье, стекаются отовсюду народные таланты. И оживает, звучит незаемное, родниковое, прозрачное, как озера на бывшей Горькой линии, шуховское слово. Это оно, как благовест главного колокола станицы, малиновые перезвоны которого по традиции открывают Шуховские чтения, каждый год зовет нас в синий августовский день на усадьбу Дома-музея И.П. Шухова, и его одностаничники в лихо заломленных фуражках, спешившись и взяв под уздцы верных коней, как и в былые времена, подобно глашатаям, созывают народ на “сходку”, которая бурлит у колодезного сруба.

И, отчитываясь перед светлой памятью писателя горьковской школы, мы со всей очевидностью должны подчеркнуть: многие духовные ценности, благодаря мужественному и смелому редактору журнала “Простор”, впервые увидели свет. Среди них запертые на долгие годы в ящиках столов и хранящиеся в архивах самых верных друзей литературы рукописи Осипа

Мандельштама, Павла Васильева, Андрея Платонова и других отважных и честных провозвестников слова, которые сегодня широким потоком выплеснулись в наши читательские сердца.

И как не быть благодарным писателю-земляку, что он, вслед за редактором “Нового мира” А. Твардовским, одним из первых сказал правду о нас, о том, что с нами происходит, в самые трудные времена не поддаваясь конъюнктуре, нес истину о времени и о себе.

Никак нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что И.П. Шухов, якобы, так и не написал самой главной книги в своей жизни. Во вступительной статье к пятитомному собранию сочинений И.П. Шухова известный казахстанский литературовед А. Устинов справедливо утверждает, что почти все написанное Шуховым читается как единое повествование о судьбе сибирского казачества на примере родных автору станиц Северного Казахстана. И каждая строка этой большой и единой книги волнует, заставляет сопереживать.

И плывет, и звучит в нашей памяти, нашем сердце проникновенное шуховское слово:

“Я помню облако оранжевой от заката пыли. Взбитая копытами пришедшей в движение конницы, она поднялась над кровлями домов станицы и поплыла, колыхаясь, над головами всадников, над багровыми крыльями знамен. Сибиряки уходили на запад по древней дороге верности и чести”.

Дорога верности и чести! Право же, стоит воспользоваться этой чеканной фразой, чтобы так просто и емко, всего в трех словах охарактеризовать жизненный и творческий путь самого Ивана Петровича Шухова.

Сейчас я уже точно не помню, когда именно мне удалось его ближе узнать, впервые встретиться с ним. У меня такое ощущение, что я знал его всегда, — вероятно, это идет от богатого душевного мира большого пи-

сателя, очень любившего людей, с вниманием относившегося к каждому молодому автору.

С чувством смятения и трепетом переступил я однажды, приехав в Алма-Ату, порог редакторского кабинета в “Просторе”, и мне навстречу, поднявшись с кресла, шагнул Иван Петрович.

— А, здравствуй, милый, — заговорил он так, словно мы были давным-давно знакомы, и я невольно почувствовал себя легко, непринужденно, естественно.

Но самой памятной для меня была поездка в Пресновку с Иваном Петровичем, приехавшим погостить в родные места накануне своего семидесятилетия. Она еще раз раскрыла незаурядную натуру писателя, скромного и простого в общении, глубоко чувствующего и ненавидящего фальшь, отмечающего все наносное, не терпящего официальных церемоний.

Благодаря его усилиям, при встрече с ним не было заготовленных впрок пышных речей и парадных приемов. В тот жаркий июльский вечер, когда солнце едва только стало приближаться к горизонту, он словно затерялся среди других пассажиров, спускавшихся по трапу самолета, приземлившегося в Петропавловском аэропорту. И все же не отличить от других и не заметить его, выделявшегося среди прочих пассажиров своей, если можно так выразиться, броской неординарностью, было невозможно.

Поздоровавшись со встречающими, трехкратно, чисто по-русски, расцеловавшись с ними, он сразу же взял добродушно-шутливый тон в разговоре, начисто отменяя ту дистанцию между собой и окружающими, на коей, по мнению некоторых, положено держаться писателю с большим именем.

Так он и держал себя — просто, приветливо, где бы ни находился: у себя “дома” — в петропавловской гостинице “Восход”, где уютно ворковал самовар и на конфорке, завернутый в полотенце, парился фарфоро-

вый расписной чайник, или у нас в редакции “Ленинского знамени”, где впервые увидели свет многие его рассказы, очерки, отрывки из известных романов.

Я сердечно благодарен ему, писателю горьковской школы, за то, что он не только всегда чутко и заботливо относился ко мне как к молодому автору, опубликовав первые подборки стихов на страницах республиканского журнала “Простор”, но и дал рекомендацию в Союз писателей, причем не казенную, чиновничью, каких было большинство, а свою, настолько искреннюю и душевную, что она приобрела художественную ценность и была включена в пятый том собрания сочинений писателя.

Степь увела нас тогда за собой, когда мне довелось сопровождать Ивана Петровича в его поездке на землю пресновскую, где родился и вырос он, туда, где рассыпались веселые березовые перелески, где бродили томительно-сладкие запахи буйного разнотравья. А вот и фамильный Шуховский колок, такими щедрыми красками описанный в “Пресновских страницах”.

Машина въехала в глубь березового перелеска, где, может быть, тот самый парнишка, в первый раз названный бороноволокном — словом, бытовавшим в пору шуховского детства, или, иначе, сеятелем, — очутился в ликующем мире запахов, звуков, которые, возможно, и стали когда-то отправной точкой столь щедрого и светлого, как наше степное лето, таланта.

Мы тогда разошлись с шофером в разные стороны, понимая, что Ивану Петровичу следует побыть наедине с собой, со своим детством. А когда вернулись назад, вдосталь полакомившись рассыпанной в траве кисло-сладкой костянкой, насобирав, куда придется, грибов, мне показалось, что Иван Петрович все еще находился там, в том давнем, неповторимом, как светлое сновидение, лете. Я тогда не предполагал, видя, как он прислушивается к шороху и звону степных трав, вгля-

дываясь в пронизанные солнечным светом кружева берез, шумящих верхушками своими в высоком безмятежном небе, что это последняя его встреча с родиной, с земляками...

А мы... Нет, мы не прощаемся с ним, просезжаем ли в одном из крупнейших микрорайонов Петропавловска по улице Шухова, склоняемся ли над страницами книг в центральной городской библиотеке, тоже носящей его имя, или путешествуем по бескрайней степи.

И, возвращаясь к высказанной уже мысли о том, что она, милая родина наша, не подлежит каким-то там переделам, не забуду напомнить и о том, что надо приумножать и крепить добрые вековые традиции нашего края, который по справедливости называют березовым и лебединым, и каждому быть по шуховски бороново-локом, сеятелем, пахарем.

ВЕТРЫ НАШЕГО ЛЕТА

В тот вечер зимы 1934 года озоровала метель. Петропавловск в сугробах, озябший и почти безлюдный. Только у клуба связи, небольшого двухэтажного здания, что на углу улиц Ленина и Советской, заметно движение. Над входной дверью — припорошенный снегом транспарант: “Молодежь города приветствует писателя Ивана Шухова”.

Незадолго до этого я прочитал “Ненависть”. Среди ее героев, так властно ворвавшихся в мою жизнь, роднее всех оказался Ромка Каргополов. Как и ему, мне довелось па первых тракторах перепахивать межи, разделявшие земли и разделявшие людей. С Ромкой у нас было много общего не только в труде. Мне дороги были его мысли, его устремления, его любовь и ненависть. И когда Семен Мулюн, секретарь нашего обкома комсомола, пропустил в дверях впереди себя незнакомого мне парня, мелькнула мысль: “Ромка”. Мысль эта, видимо, мелькнула потому, что автор придал герою многие собственные черты.

Семен Мулюн познакомил нас. Не без трепета я протянул руку, услышав несколько приглушенное: “Шухов”. Он тоже ответил смущенной улыбкой, но руку не освободил и, как мне показалось, сжал еще сильнее, словно знал, что это — на всю жизнь.

И в его замедленном рукопожатии, и в улыбке, и во взгляде, тоже несколько замедленном, усталом и немножко грустном, таилась какая-то внутренняя сила.

Я тогда редактировал областную газету “Карагандинский комсомолец”. И, естественно, Шухов, в недавнем прошлом тоже газетчик, надеялся встретить во мне собеседника, столь необходимого в этой необычной ситуации. Но я молчал и продолжал улыбаться. Улыбался, как мне казалось, неестественно, глупо и вконец растерялся. Шухов, видимо, заметив это, достал пачку “Беломора”.

— Перекурим.

Но перекур не удался — надо было начинать официальную часть. Зал был переполнен. Парни и девушки в зеленых гимнастёрках, в кожаных куртках теснились на скамейках, на подоконниках, стояли вдоль стен в проходах. Над сценой пестрели трогательные слова благодарности земляку, написанные на красном полотнище. Тогда на любом собрании обязательной была песня. В тот вечер гремел и духовой оркестр, который мы все любили несмотря на то, что “врал” он безбожно.

После короткого вступительного слова Семена Мулюна к небольшой трибуне подошел Иван Шухов. Теперь я заметил, что он невысок и не очень статен. Черные волосы, откиннутые назад, резкие, крупные черты лица, большие — с грустинкой — глаза.

Конечно же, все мы ожидали появления человека солидного, в годах, а перед нами стоял почти юноша, решительно ничем не отличавшийся от всех остальных. Трудно было поверить, что такие книги мог написать этот неприметный с виду парень.

Первая встреча осталась в памяти, словно высеченная на камне. В тот вечер, если можно так сказать, масово проявилось отношение широкого и самого непосредственного читателя к писателю Шухову, к его книгам.

Второй раз мы встретились вскоре, на свадьбе. Женился Семен Мулюн. Выходила за него Вера Бизяева, ответственный секретарь областного совета физкультуры, девушка, в которую на нашем молодежном подворье был влюблен не один Семен. Молодежное подворье — это второй этаж небольшого каменного здания на углу улиц Ленина и Коммунистической. В нем размещались Карагандинский обком комсомола, редакция “Карагандинского комсомольца”, областной совет физкультуры.

На свадьбе были все члены бюро обкома партии. Приехал из Пресновки и Шухов.

Шухов был весел, оживлен: в первой половине тридцатых годов он, как тогда говорили, держался в седле хорошо. Кстати, в тридцать пятом году мне довелось видеть, как держится Шухов в седле и в буквальном смысле. Тогда партия много работала с казачеством. Прошли слеты казаков на Дону, на Кубани. Состоялся слет и бывшего Сибирского казачьего войска. Местом его была избрана родная станица Шухова. И все дни казачьего сбора Иван Петрович не слезал с буланого строевого коня.

То время было для писателя, пожалуй, особенно плодотворным. Вслед за очерками, опубликованными в газетах Сибири, Урала, Поволжья, Москвы, в 1931 году вышел в свет его роман “Горькая линия”. А в 1932 году — опубликована “Ненависть”. Когда писались эти произведения, их автору еще не было и двадцати пяти лет.

Уже первый роман принес Ивану Шухову широкую известность. Его имя стояло в ряду известных “деревенских” писателей. Читатель полюбил и высоко оценил “Горькую линию” — произведение о трагедии и мужестве поднимавшихся на борьбу за новую жизнь сибирских казаков, о дружбе русских бедняков и казахских джатаков, общности их исторической судьбы, произведение, проникнутое суровой правдой и революци-

онной романтикой. Читаешь “Горькую линию” и чувствуешь, видишь, как накаляется, намагничивается в степи атмосфера. Буря еще не началась, но она обязательно разразится, она неотвратима. Мне и сегодня видится, как над древними земляными редутами крепости, над холмами линейного городища, над палисадниками и крышами станицы встает огромное, похожее на развернутое алое знамя солнце, слышится торжественно-глуховатый звук меди.

Много лет спустя по поводу этого романа я прочту письмо Горького: “Вы написали очень хорошую книгу, это — неоспоримо...”

В 1932—1934 годах А.М. Горький пристально следил за каждым новым шагом в творчестве Ивана Шухова, поддерживал и наставлял его. В письмах и беседах Горького и Шухова много значительного и трогательного. Тут снова и снова вспоминаются великолепные слова Михаила Шолохова, сказанные на III съезде писателей Казахстана в 1954 году: как беркут-отец учит своего птенца летать, так должно обучать старшее поколение писателей свою смену.

В то время, когда был опубликован роман “Ненависть”, в деревне еще шли ожесточенные классовые бои за утверждение новой колхозной жизни. Роман вышел в период великого перелома в исторических судьбах крестьянства. Сколько ребят и девушек нашего поколения ставили себя на место Романа, Линки, Аблая, Фешки! В этом произведении до предела стерты грани между жизнью и ее изображением. Все в нем как живое.

“Ненависть”— одна из немногих книг, которые действительно вторгались в жизнь, преобразующее воздействовали на нее, имели большое значение в переломке деревни на новый социалистический лад. Такое произведение мог создать только писатель, отлично знающий жизнь, мастерски владеющий методом социалистического реализма.

В “Ненависти” много простых людей с нелегкими судьбами. С глубоким проникновением в природу крестьянина вылеплен образ Лари Нашатыря. Несомненно, он принадлежит к числу самых ярких образов, созданных в нашей литературе о колхозной деревне.

Еще большую силу обрели герои “Ненависти” после ее экранизации. Фильм “Вражьи тропы”, созданный по этому роману Московской студией, пользовался огромным успехом. В картине снимались знаменитые актеры — Цесарская, Ладынина, Абрикосов...

В Петропавловске фильм долго не сходил с экрана. Посмотреть его приезжало много сельских жителей, для которых герои картины были очень близки и понятны. Несколько раз мне приходилось слышать разговоры о том, что Шухов своих героев не выдумал, а только описал. Назывались даже села, где живут эти герои, и, понятно, каждый раз села назывались разные.

Огромное значение, бесспорно, имело то, что писатель был связан с народом не только мировоззренчески, нравственно, но и кровно. Ему не надо было ездить в массы и постигать их, потому что сам он был их неотделимой частицей. Многолетней и задушевной была его дружба с Саввой Калугиным из села Усердного, Сексенбаем Туралиным, председателем колхоза “Баян”, художественным руководителем Пресновского народного театра Василием Дробышевым, старейшим актером Иваном Тарановым...

Удивительно быстро сходилась он с людьми. Когда началась целинная эпопея, редакция “Правды” попросила его написать о преобразованиях в Кустанайских степях. Во время командировки Шухов встретился с Иваном Петровичем Храмковым, первым секретарем Кустанайского обкома партии. С этой встречи и началась их крепкая дружба. Позднее Храмков познакомил Шухова со своим другом Константином Васильевичем Лебедевым, вторым секретарем ЦК Компартии Эсто-

нии. Они стали друзьями, и Шухов несколько раз ездил к нему в Таллин. Столь же быстро подружился он с Михаилом Светличным, в свое время работавшим секретарем Кустанайского обкома партии.

Многолетней дружбой был связан Иван Шухов с Александрой Есениной.

Естественно, немало близких друзей было у Ивана Петровича среди казахских литераторов. А своих земляков Сабита Муканова и Габита Мусрепова он знал с детских лет. Ему принадлежат переводы на русский язык ряда их произведений.

Очень близкими были отношения Шухова с Михаилом Шолоховым. Мне довелось это наблюдать в дни работы III съезда писателей Казахстана. Особенно запомнилась встреча Шолохова в аэропорту.

Самолет опаздывал. Уже глубокой ночью на аэродроме опустился ИЛ-14. Открылась дверь, и по трапу сошел Михаил Александрович. Он по-дружески поздоровался со всеми и как-то особенно тепло — с Шуховым. Немного позже, уже в Доме отдыха ЦК Компартии Казахстана, куда мы все приехали, Шолохов спросил его:

— Ну, как ты тут?

— Да ничо...

Было сказано еще что-то, теперь уже забытое. Но остались в памяти душевность, простота и непосредственность, с какими шел тот короткий разговор.

Из всех дорогих Шухову людей, которых довелось мне знать, одной из самых близких была Прасковья Петровна, старшая его сестра, сыгравшая весьма важную роль в судьбе Ивана Петровича и дочери Наташи. На ней, Прасковье Петровне, и держался дом, особенно в те годы, когда Шухов уезжал из Пресновки. Правда, к лету он непременно сюда прилетал. Часто прилетал с Илюшкой — так он обычно звал сына. Летом здесь ве-

ликолепно. Дом стоит в саду. За садом плещется огромное пресное озеро с чистыми песчаными берегами.

Вечером, после чая, мы с Иваном Петровичем сидели на ступеньки крыльца, курили и наслаждались ветрами, то влажными, дувшими с озера, то сухими и терпкими, залетающими из недалей степи. В пору раннего лета вечернюю зарю сменяла утренняя, и мы иной раз засиживались за разговорами до рассвета.

Меня всегда поражала его любовь к ветру. Может, потому, что там, на севере Казахстана, безветренной погоды почти не бывает. Скорее всего, потому, что Иван Петрович видел в нем нечто свободное, разгульное, совсем иначе улавливал запах ветра, иначе его слушал. А в Алма-Ате, приезжая ко мне на дачу, он больше всего любил сидеть на открытой веранде в те вечерние часы, когда из ущелья начинал дуть шальной, охмелевший на хвойном настое ветер. Лицо Ивана Петровича преображалось, в глазах появлялось что-то озорное, мятежное. Но особенно любил он те, пресновские, ветры нашего лета.

Ветры нашего лета.... Были они и теплыми, ласковыми, как дыхание матери, отогревавшей в пору детства изящные руки, были и хлесткими, лютыми.

Ивана Шухова увлекали периоды крутых поворотов в истории народов. После “Родины” он снова возвращается к теме Первой мировой войны. В 1940 году выходит “Действующая армия” — роман большой, суровой правды о сибирском казачестве.

Сороковые годы оказались в творчестве Шухова не столь плодотворными. Но это не были годы застоя. Писатель продолжал работать, порою очень много и напряженно. В годы войны он редактировал пресновскую районную газету “Ударник” и делал все то, что делали в это время районные партийные работники в колхозах и совхозах.

В дни самых напряженных оборонительных боев на фронт ушла небольшая, но сильная сыновьей любовью к Отечеству и ненавистью к его врагам книжка Ивана Шухова “Письма сибирским казакам”. В годы войны очерки стали основным жанром в творчестве Шухова.

Как все, Шухов жил мыслями о нашей грядущей победе и радовался каждому нашему успеху. Сообщение об окружении и разгроме немцев под Сталинградом он слушал со слезами счастья на глазах.

Случилось так, что это сообщение мы слушали вместе. После госпиталя, возвратившись домой, я, как только поправился, позвонил в Пресновку. Стояла лютая сибирская зима, тянуться в санях до Петропавловска по сугробам было рискованно, и мы решили встретиться у моих родителей в Мамлютке. В тот вечер, когда мы праздновали нашу встречу, радио начало передавать сообщение Совинформ-бюро о победе под Сталинградом. Никогда я не видел Шухова столь восторженным и счастливым. Мы не спали всю ночь. Тогда у родителей жили и мои сестры. Старшая, София, заведовала агитпропом райкома, младшая, Полина, работала первым секретарем райкома комсомола. Сестры любили петь, в доме было несколько музыкальных инструментов, и мы составили неплохой квартет. Пели и украинские песни. И тогда Шухов заговорил о своих предках. Оказывается, в числе семи запорожских казаков, основателей станицы Пресновской, был и его прапрадед...

О той ночи и о других встречах у моих родителей Иван Петрович много раз вспоминал и собирался написать главу для “Пресновских страниц”.

Писатель всей душой стремился на фронт. Он ездил туда дважды, проведя там в общей сложности полгода.

Шухов побывал в дивизии, формировавшейся в Петропавловске, когда она еще стояла в обороне недалеко от Ленинграда. Обветренный, посуровевший вер-

нулся он в Петропавловск, полный впечатлений о подвижнической жизни солдат и офицеров, об их несгибаемой воле и героизме. И до сих пор мне помнятся его рассказы о мужественных комиссарах Жаринове и Кошилеве, бывших работниках Северо-Казахстанского обкома партии, погибших смертью храбрых в боях за Родину.

Во время войны писатель работал над новым романом. Работалось нелегко, потому что было много других, очень трудных забот, но к сорок четвертому году произведение сложилось. О том, как шла работа над ним, я знал почти все. Шухов приезжал в Петропавловск довольно часто и каждый раз привозил с собой рукопись. Мы с женой, Лидией Аркадьевной, всегда поражались: только коренные степняки могли отважиться на стасорокакилометровый путь в мороз, а то и пургу по зимней неторной дороге. Поздним вечером вдруг заскрипят на дворе сани, а через минуту вваливаются в заиндевелых тулупах Шухов и его родственник Семен. Тогда жена подбрасывала в печку дров и ставила чайник. Семен после чая ложился спать, а мы подсаживались ближе к столу и начинали читать.

Как-то я поделился своими впечатлениями о романе с первым секретарем Северо-Казахстанского обкома партии Василием Федоровичем Николаевым. И он вдруг предложил:

— Давайте почитаем здесь, в обкоме.

Но в те трудные военные дни выкраивать время было сложно. Поэтому решили встретиться поздно. Часа в два ночи собралось нас несколько человек у Николаева в кабинете. Шухов был взволнован и читал великолепно. Разошлись уже перед рассветом.

Главы из романа были вскоре опубликованы в "Сибирских огнях". Среди тех, кто высоко отозвался о них, была и Лидия Николаевна Сейфуллина.

В моей квартире, в одноэтажном приземистом деревянном доме на углу улиц Ленинской и Базарбаева, и читался роман и обговаривались сюжеты других произведений. Уже тогда Шухов много говорил о своих знаменитых земляках, которые потом станут главными героями “Пресновских страниц”.

По стечению обстоятельств та квартира многие годы служила Ивану Петровичу родным домом в Петропавловске. Когда я уехал в Алма-Ату, ее занял наш общий друг Асхад Хамидуллин, и Шухов останавливался у него.

В послевоенные годы Шухов продолжал встречаться с людьми, собирать материал, писать очерки. Мне часто случалось ездить с Иваном Петровичем на его “Победе” по колхозам и МТС Пресновского района, бывать в окружении его многочисленных друзей и приятелей. Они всегда делились с ним своими сокровенными мыслями, советовались, иногда жаловались на непорядки. “Наш писатель” — так уважительно говорили в пресновских колхозах о Шухове. Да, это был именно их писатель, который вместе с ними создавал колхозы и совхозы, одолевал трудности, переживал тяжелые военные невзгоды, на первых тракторах пробивался в целинные степи.

В очерках, как и в романах, столь же ярко проявилось замечательное дарование писателя. Используя этот боевой жанр, он активно, по-революционному вторгался в жизнь. Характерен в этом отношении такой пример. В конце 1953 года в “Казахстанской правде” был опубликован очерк Шухова “Осенние будни”. На редакционном совещании — я тогда работал в “Казахстанской правде” — вещь получила высокую оценку.

Очерки Шухова примечательны не только глубоким содержанием, искренностью и хорошим раздумьем, но и подлинно художественной формой. Без преувеличения можно сказать, что в художественном отображении

подвига молодых патриотов-целинников до сих пор никто столько не сделал, как Иван Шухов.

Писатель тонко чувствовал природу. В романах и очерках он нарисовал поэтические, неповторимые картины родных ему мест Северного Казахстана.

Последние годы мы больше встречались у меня на даче. Часто с Дмитрием Снегиным, иногда и с Алексеем Кузнецовым. Память Снегина отчетливо хранит стихи многих поэтов. И читает он проникновенно. Любил читать стихи и Шухов, больше всего — Сергея Есенина, Павла Васильева, с которым в свое время был очень близок. Шухов и сам писал стихи. Особенно часто обращался к поэзии во время войны. Но я не помню, чтобы он собирался свои стихи печатать.

Кроме “Пресновских страниц” в последние годы была еще одна большая забота у Ивана Петровича — “Простор”. Писатель привлек к участию в журнале много новых авторов. Это были и казахстанские писатели, и литераторы Москвы, Ленинграда, других городов страны. Когда случалось бывать вместе в Москве, я удивлялся его неутомимости в налаживании литературных связей. То он едет в ЦДЛ, то отправляется к Илье Эренбургу, то встречается с писателями в номере гостиницы.

В сентябре 1965 года мы оба получили приглашение принять участие в конференции, обсуждавшей проблемы публицистики. Конференция собиралась во Львове, путь не близкий, и я решил не ехать. Вдруг звонит Иван Петрович: “Да ты што? Да што же ты будешь сидеть?” Когда мы прилетели во Львов, он прежде всего стал интересоваться авторами. Тогда на Украине многие писали о Казахстане, о целине. Из Львова мы полетели в Харьков, потом он с корреспондентом “Известий” Михаилом Буренковым на машине поехал в Полтаву.

В этой поездке по Украине забота об авторах, бесспорно, сочеталась с желанием больше увидеть, боль-

не узнать. Меня удивил его интерес к украинской речи. Народную “мову” он хорошо знал, постоянно общаясь с украинцами в пресновских колхозах. Во Львове Шухов слышал много непонятных слов и задавал бесконечные вопросы, стараясь докопаться до корня. Когда мы проходили мимо театра, Иван Петрович остановился у объявления, которое приглашало мальчиков и девочек поступать в театральную студию: “Хлопчики та дівчачки...” Эти слова он снова и снова повторял в тот вечер и много раз вспоминал потом в Алма-Ате. Уж очень ласковыми показались они Ивану Петровичу.

Любили мы с ним петь народные песни и особенно — эту:

Повий, витре, на Вкраину,
Де покынув я дивчину,
Де покынув кари очи,
— Повий, витре, о пивночи...

Необычайно чуток был он к народной речи и знал ее великолепно. У Шухова, действительно, свой язык, своя манера письма. Любое его произведение отличается метафоричностью, яркими эпитетами, сравнениями, тонким народным юмором.

Да, писатель это был очень самобытный. Мой верный, испытанный друг...

СЛОВО О ШУХОВЕ

I

Наверное, не буду я первым, не буду и последним, если скажу искренне, что счастлив был видеть и слышать не раз Ивана Петровича Шухова и как большого писателя земли советской, и как главного редактора авторитетного журнала, и как народного депутата. Общественная “многоликость” Ивана Петровича ни при каких обстоятельствах не лишала его собственного “я” — везде и всюду он отличался тем, что в сумме человеческих качеств, пусть разноречивых и, прямо скажу, далеко не всегда гладеньких, а, напротив, упорных и колючих, он был, прежде всего, личностью, то есть всегда и во всем был самым собой, никогда не бронзовел, не пыжился на людях, но и не мельчил, не играл в ложную демократичность. Если кто-то всю жизнь тщится достичь благородных высот этого нелегкого умения, то для Ивана Петровича оно было естественно как дыхание.

У меня нет никаких намерений глянецвать минувшее, писать о том, чего не было. С Шуховым долгие годы мы жили дверь в дверь — и не в каком-то там переносном смысле, а в самом что ни на есть буквальном. Таким нехитрым образом мне выпала, конечно же, случайная, но тем не менее немалая привилегия видеть Ивана Петровича по-соседски близким, счастливым и

расстроенным, добродушным и настороженным. Но, честное слово, мне никогда не приходила мысль, что раз Иван Петрович знаменитый писатель, то надо запомнить чуть ли не каждое его слово. Поэтому то, о чем я здесь рискну рассказать, никак не будет в жанре “записок соседа”, собственными глазами видевшего уважительные взгляды ему вслед:

— Смотри, смотри — Шухов пошел!

Я, возможно, больше, чем кто-либо, но, разумеется, никак не больше его родных и близких, знаю о том, каким был Иван Петрович Шухов в семье, тем более, что сам он весь был на виду, перед людьми не таился, никаких секретов особых не заводил, никогда не скрывал своих отношений с кем бы то ни было.

Но это — не моя тема. Скажу лишь одно — семьянином на моих глазах (а это как-никак за малым минусом четверть века) — Иван Петрович был действительно добрым, что бы там ни говорили, хотя житейских и психологических сложностей (теперь уже это понятно на нынешний, взрослый взгляд) было не занимать.

И если тут рисовать с Ивана Петровича сиятельную икону, то, скажу откровенно, такая икона вряд ли получится, как не получится она у того, кто замыслит представить Шухова, скажем, идеальнейшим редактором общественно-политического и литературно-художественного издания или беспорочным ангелом во плоти, пьющим только лишь отварную воду. Иван Петрович не любил в литературе благостных картин. Не любил он их и в жизни. Если с кем ссорился, то основательно. Впрочем, легко отходил от гнева и злопамятным не был. Всякая ложная красивость ему претила, и я помню не один абзац, вычеркнутый из моих критических мурствований его сомневающейся, но все-таки твердой редакторской рукой, помню недолгие, но всегда емкие его суждения о литературе, о писательском долге, помню вечерние и дневные телефонные звонки, а звонил

он не столь часто, но если звонил, то, значит, был для того настоящий повод.

Любые воспоминания о ком-то — это в какой-то степени воспоминания и о себе, если тебе этот человек по-настоящему не был безразличен и ты ему — тоже. У меня к Ивану Петровичу Шухову с невеликих, еще школьных, лет отношение очень личностное, о котором в любом другом случае я ни за что бы не решился сказать открыто, но тут, по-видимому, сказать надо, да простится мне эта нескромность.

...Школа — а это была десятая, алма-атинская, “женский монастырь”, как называли ее ребята, оказавшиеся в любом из старших классов в абсолютном меньшинстве после введения так называемого совместного обучения. Все нетерпеливо дожидались выпускных экзаменов, но до них было еще далековато, а потому каждый ученик воспринимал оставшиеся полтора года как постылую неизбежность.

Половина ребят девятого “Г” (а это значит — четверо) грезил авиацией, что было отнюдь не пустыми мечтаниями: в летние каникулы выезжали на настоящий аэродром, летать на легких планерах “БРО-9”, а всю осень и зиму занимались вечерами в аэроклубе теорией, по четыре-пять часов трижды в неделю. Весной вывели нас на парашютные прыжки — это стало радостным праздником и счастливым, неубывающим воспоминанием, хотя были потом дела и посложнее, и поинтереснее. Нагрузка выпадала не из легких, но то была очень приятная нагрузка, потому что в авиацию нас вели настоящие летчики, истово влюбленные в свое ремесло.

Мы их невольно сравнивали со своими школьными наставниками. Одна учительница по литературе, натурою педагог очень старательный и строгий, чего стоила. Рассказывая, например, о Павле Власове, она расчерчивала сама на доске мелом и нас заставляла это

писать “График духовного роста и формирования характера главного героя романа великого пролетарского писателя А.М. Горького “Мать”. Белая кривая, обозначенная мелом, торжественно уплывала вверх, почти к самому портрету Н.А. Добролюбова, который недоумевающе смотрел сквозь очки на творимое. Затем на кривой обозначались кружочки — “станции”. Первая, самая нижняя, “станция” называлась “Борьба за болотную копейку”. Самая верхняя — “Речь Павла на суде”. Она графически провозглашала апогей сознательной жизни героя.

Тот, кто не желал воспроизвести график, немедленно достаивался двойки. Оной была почтена вся наша “авиационная” группа. Мы решили не сдаваться, и, когда литераторша торжественно объявила, что будем писать сочинения на вольную тему, мы, разумеется, выбрали темы авиационные. Помнится, я писал об особенностях ЖРД (жидкостно-реактивных двигателей) и их преимуществах перед поршневыми. Итогом был жирный “кол” с минусом, хотя, по слухам, дошедшим из учительской, наш физик Павел Митрофанович настаивал на тройке — за относительную техническую грамотность и прямую дерзость. О незавидных оценках дали знать родителям и в аэроклуб. Если с первыми еще можно было договориться, то из аэроклуба за пару двоек отчисляли без лишних увещаний.

Тогда пришлось переписать сочинение на вольную тему, и я рискнул — красочно описал похищение спелых яблок из загородного сада на велосипедах, заметив, конечно, фамилии участников этого похищения. Как ни странно, на сей раз литераторша оказалась не деревянным человеком и поставила за сочинение “отлично”. Этого ей показалось мало, и она принялась читать его по другим классам, в одном из которых учился мой “старый” уже по тем, школьным, временам друг, живший со мной в одном доме, квартиры были дверь в дверь, на

втором этаже. Собственно, с ним мы ездили “по яблоки”. Через несколько дней его отец остановил меня на лестнице в подъезде и, посмеиваясь, спросил:

— Ты что же это, Слава, пишешь о Шуховых, а фамилии заменяешь? Право, я растерялся, готовый сквозь лестницу провалиться — никак не ожидал такого вопроса.

— Ну, пожалуйста, не тушуйся! — ободрил Иван Петрович. Однако смелость рассказать о литераторше пришла ко мне лет через десять, когда я не без робости принес в редакцию журнала “Простор” один из своих рассказов, который самому мне очень нравился. Назывался он, помню, “Десять геллеров”. В отделе прозы его читать не стали и отослали меня самым серьезным образом к главному редактору, надеясь, конечно, на то, что я туда не пойду, а вернусь восвояси, откуда пришел.

А откуда я пришел и что принес — это совсем не интересовало благодушного товарища, в затяжную повисшего на телефоне. Не было ему известно и то, что у меня с их редактором совершенно “особые”, соседские, что ли, отношения.

Появлению моему Иван Петрович не удивился и протянутой, старательно напечатанной на машинке, рукописи рассказа — тоже. Он только спросил как-то мимолетно — а что, мол, такой-то (назвал по имени-отчеству благодушного) разве не на месте? Немного обиженный предыдущим приемом, я с легкой ироничностью ответствовал, что, конечно же, не на месте. Иван Петрович хохотнул: “Однако ты, наверное, прав!” Потом позвал вежливую секретаршу Валентину Ивановну и попросил ее очень уважительно — передать “благодушному”, чтобы тот зашел немедленно. “У него закоренелая привычка жить с телефоном”, — объяснил он то ли секретарше, то ли мне, но тут же бросил, передумав: “А-а, ладно! Не надо звать!”

Валентина Ивановна вышла, как мне показалось, недоумевающая. Рассказ был недлинный. Шухов прочитал его не торопясь, оторвался, постучал синим карандашиком по столу, отложил карандашик в сторону, поправил голстые очки и посмотрел в упор изучающе сквозь них.

Страшновато мне сделалось и неловко. “Зря, — думаю, — пришел. Сейчас зарубит — и баста! И прав будет”. Неожиданно для меня Иван Петрович завел речь о другом: “Знаешь, — сказал он, подвигая к себе маленькую фарфоровую чашечку с густо заваренным чаем, — ты недавно писал о поэте Рябухе. Нет, неплохо написал. Красиво, задиристо. Иронично. О Рябухе критика вообще мало вспоминает — и зря, он интересный! Но, по-моему, в одном месте как-то не подходит к нему вычурное это словечко — “нюанс”. Не крестьянское оно, а салонное... Согласен?”

Он прихлебнул чаю и, не дожидаясь ответа, продолжил: “А рассказ твой, честное слово, неплохой. Спасибо. Мы его напечатаем”. Он еще раз, словно проверяя себя, посмотрел на заголовок, потом на меня. Выжидательно посмотрел и обронил как бы между прочим: “Если, конечно, ты очень хочешь”.

Разумеется, какому автору не хочется напечататься в шуховском журнале, а мне тоже страсть как хотелось, и после редакторских слов “мы его напечатаем” мысленно уже увиделись эти “Десять геллеров” заверстанными в журнал чуть ли не на самом почетном месте, и внутренне я возликовал несказанно, но при “если, конечно, ты очень хочешь” — ликование враз погасло и остудилось, и уж, наверное, не было на свете лица заунывнее, чем мое, при этой вроде бы невзначай сказанной фразе. Хотелось уйти прочь, чтобы остаться со своей горькой неудачей наедине и никому больше о ней не говорить.

Иван Петрович не мог не заметить моего смятения. Он чуть улыбнулся хитровато и поставил чашечку сбо-

ку рукописи. “Не торопись, — просто сказал он, распространяя коротким жестом совет и на мое смятение, и на лежащую перед ним рукопись. — Я бы советовал тебе дружески — не торопись. Контурно — это не рассказ даже. И не роман, а повесть. Да-да, не удивляйся, она самая. Только еще пожить надо повнимательней. Надо посздить. И запомнить все. Так как? Согласен?..”

Еще прошло лет десять с того разговора, и как-то — а было это вскоре после присуждения Ивану Петровичу Государственной премии имени Абая — осмелился я показать Шухову “серединку” из того, что некогда было “Десятью геллерами” и еще одним рассказом (напечатанным, правда), который назывался “Только один случай”. “А что я говорил?!” — спросил он торжествующе. Было видно, что радость его, как всегда, открытая и искренняя. “Кому еще показывал?” Я назвал три-четыре не последних имени. Потом говорю: “Олжас Сулейменов еще видел”. “Вот и хорошо! — сказал Иван Петрович, посматривая на меня как-то по-новому. — Неси в журнал!” Пришлось ответить: “По секрету — уже там”. “Ну и ну! — изумился он. — Скор, однако! Так и уже там? Хотя, — тут он призадумался глубоко, и неясная тень печали скользнула быстро по его лицу и тотчас исчезла, — надо спешить. Как-никак, а полжизни или треть, считай, за плечами... А у меня?”

Он спросил вроде бы и бодрясь, но что-то грустное снова промелькнуло в шуховских глазах и, сбрасывая наваждение, тревожно увиденное им в этот краткий миг, он улыбнулся так, как мог улыбаться только живой Шухов, и почти радостно заговорил о том, что и ему ох как не хватает сейчас времени, а силы еще есть — надо и “Пресновские страницы” достойно завершить, и киносценарий по роману “Горькая линия” “изладить”, и над многотомником поработать, и в родную Пресновку наведаться тоже надо...

II

...Иван Петрович, насколько я знаю, никогда не был домоседом. В его изумительной документальной прозе живут имена, фамилии и точные координаты невыдуманых людей, с которыми он всегда желанно встречался на необъятных просторах родного ему Казахстана и далеко за рубежами нашей Родины. В братской Болгарии и далекой Норвегии, в Англии и Франции доводилось слышать мне уважительные слова о русском писателе — и не только от филологов. Писательская известность бывает разной. У Ивана Петровича Шухова она неотделима от земли, подарившей миру Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Джамбула Джабаева, Мухтара Ауэзова, от земли, чей древний облик преобразила Великая Революция и созидательный труд братских народов, в едином союзе идущих к общей цели.

Иван Шухов — из тех писателей, которых по праву называют литераторами “горьковской генерации”. Он по своему убеждению и таланту стал колоритным летописцем новой эпохи, перевернувшей мир прежних оттошений, волею коммунистов поставившей человека труда на его законное место — хозяина и вершителя жизни.

Уже первые романы Шухова “Ненависть” и “Горькая линия” А.М. Горький ценил выше многих произведений “современных изобразителей деревни”, неоправданно сгущавших трагедийные краски в изображении некоего темного и безысходного “мужичьего царства”.

Казахстанский писатель шел не от надуманных концепций, а от правды жизни, разбуженной революцией, от личной причастности к масштабным социальным преобразованиям — именно так и возникала, по собственному признанию автора, “Ненависть”: “из непосредственного участия в одном из интернациональных колхозов моей родины”.

Примечательно, что в “Горькой линии” Шухов одним из первых советских писателей отобразил рост революционного самосознания казахского народа, показал классовое расслоение не только русского казачества, но и казахского аула.

Написанное было смело и необычно — вокруг шуховских книг закружились критические хороводы. Одни осторожно хвалили. Другие ругали вразнос: “Классового чутья нет, идеализация проклятого прошлого”. Третьи и хвалили, и ругали. Ясность внес Горький.

“...у Вас хорошее, здоровое, революционное дарование, его необходимо расширить, углубить”, — подчеркнул Алексей Максимович в одном из писем Ивану Шухову (т. 30, стр. 339). Словом и делом поддержал Горький молодого тогда писателя. Иному литератору такое благословение вскружило бы голову (как порой и случалось), но Шухов более всего остался верен не похвале великого наставника, а его откровенному совету быть всегда беспощадно требовательным к своему творчеству.

Эта высокая требовательность, пронесенная сквозь годы вместе с неостывающей любовью к родной земле, всякий раз давала ценнейшее для писателя качество — сколько бы ни говорил он об этой земле, ему никогда не изменяло удивительное чувство новизны и первооткрытия. И почти с каждой новой книгой можно было сказать о нем как об одном из его же героев: “...словно впервые за всю свою жизнь, вдруг разглядел сейчас близкие лица... всех плечистых русских парней и приземистых, скуластых казахов, руками которых вспахано было нынешней весной это огромное поле”.

Напевно-чеканное письмо Шухова, писателя глубоко русского, нередко в “Горькой линии” расцветает привлекательным узором казахских орнаментов: “Замирали над степью далекие крики гарцующих на злых и горячих конях джигитов. Уходил караван в далекую степь.

А джатаки продолжали стоять в молчании около жалких своих кибиток, с тоской, гневом и завистью глядя вслед уходящим в степную даль. Это были те бесправные и обездоленные, кому было сказано на родовом совете так:

— Если нет у тебя выносливого верблюда, если нет у тебя коня и десятка овец — оставайся на месте и не ходи за богатыми.

— Ие,— соглашались джатаки.

— Каждый джатак может тоже стать богатым, если он хорошо поработает в летнюю пору на бая, — говорили аксакалы джатакам.

— Жарайды, жарайды, — отвечали джатаки. Терпеливо и молча выслушивая своих аксакалов, джатаки думали о невеселой, скупой на радости, горькой своей судьбе. Они знали — придет жаркая пора сенокоса и поднимутся тучи гнуса, от которого будут судорожно биться тощие лошади и плакать, как дети, козлята. Они знали — высохнет вымя единственной кобылицы, и не будет у них в турсуках кумыса. Не будет у них ни пресной лепешки, ни крошки бараньего сыра, и нечем им будет кормить в знойное лето своих детей”.

Обостренное классовое видение подкрепляется талантливым умением истинной словесной живописи, мастерским слогом и удивительной лиричностью. Верно подмечено, что казахстанская степь у Шухова — “не просто “типическое обстоятельство”, раскинувшееся в ногах у “типических характеров”. Это — лирическое начало его романов, воздух, которым дышат герои. И ему, этому началу, Шухов отдавал все свое мастерство.

III

Привлекательная шуховская проза населена множеством интереснейших людей. Но почти все они — не плод писательского вымысла, а взяты от жизни. Шухов не изменял этому правилу, не забывая в минуту,

близкую собеседнику, напомнить тому в подтверждение своей позиции слова Томаса Манна: “Я утверждаю, что способность выдумывать персонажи и интриги не является критерием писательского дарования...”

Критерием для Шухова были верность жизненной правде, точность знания этой правды и неуклонное следование ей в прозе. Ее богатая страна — это десятки несхожих судеб в переломные моменты истории, это взволнованное сказание о прошлом и современности края хлебопашества, кровным родством с которым казахстанский писатель дорожил искренне и в счастливый мирный час, и в тревожные дни военного лихолетья: “В суровых лесах и скалах далекой Карелии, под огненным небом непокоренного Сталинграда, среди первобытного величия древних Кавказских гор — везде и всюду вижу я вас, овечьих пороховым дымом сражений славных моих земляков...”

И неспроста повторил он эпиграфом к повести “Колокол”, открывшей известный цикл “Пресновские страницы”, слова Александра Трифоновича Твардовского — поэта “глубоко русского облика”:

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы,
Из той избы.
Я счастлив тем, что я не чудо
Особой избранной судьбы.
Мы все, почти что поголовно,
Оттуда люди, от земли...

...В двадцать лет написаны первые рассказы “За Альховской”, “Ломь” и “Перекрестки дорог”. В двадцать пять — “монументально-эпические” романы “Горькая линия” и “Ненависть”. Долгие десятилетия не молчания — творчества разделили эти произведения, с неизменным успехом выдержавшие десятки отечественных и зарубежных изданий, от последнего цикла повестей.

Писатель был не из тех, кто слишком легко и бездумно расставался со своими героями. Силой художественно точного и выверенного слова он переносил их в предреволюционные годы или ставил рядом с нами — и тогда, например, в Акиме Матвсевиче Старожуке, нашем современнике “с достойной походкой пахаря и хозяина земли” (“Зарницы над нивами”), так же, как и в Петре Васильевиче Матвееве, секретаре райкома партии (“Осенние дали”), читатель неизбежно угадывал знакомые черты шуховских станичников — но героев нового времени. И совершенно естественно было обращение писателя к их истокам, что он и сделал мастерски в повестях “Колокол”, “Трава в чистом поле”, “Отмерцавшие марева”, историко-биографических повестях, нерасторжимо связанных со всем, что было написано прозаиком за долгие и плодотворные годы. Без мемуарной ретуши богатая и честная память писателя выхватывает из полутьмы времени лица, разговоры, события — и романтические, и горестные, но сызнова возвышающие на склоне лет человеческую душу.

И в повестях цикла “Пресновские страницы” овеянный поэтичными легендами казахстанский край видится в особом “личностном освещении”, не ведающим строгих границ географии и времени. И пусть одна страница расскажет о народном “казахском вече 1852 года”, другая перенесет к подножию каменных небоскребов современного Нью-Йорка, а третья снова уведет в казачью станицу Пресновку, один и тот же мотив волнующе прозвучит снова и снова — мотив кровной близости трудового человека к родной земле и ее истории.

Погружаясь, говоря словами Ольги Берггольц, “в коварную и прекрасную пропасть воспоминаний”, — ассоциативное шуховское письмо усиленной, двойной проекцией — как глазами героя, так и самого автора — воскрешает страницы юности писателя, совпавшие с

уже далекими от нас годами, из которых вскоре вырели Революция и ее бурные, очищающие грозы.

Но вместе с тем это рассказ не только о себе. Это интересный экскурс в глубь прошлого века и одновременно четкая экспозиция современности. Творческая многоопытность позволила Ивану Шухову обратиться к окраинную и малоприметную Пресновку в средоточие многих социальных и нравственных забот минувшего. Факты, события, люди — все это “заверстано” в “Пресновские страницы” контрастной, причудливой чередой, но в каждой из повестей, особенно в “Отмерцавших маревах”, есть свой, “тайно” организованный сюжет. Именно эта контрастность вместе с емкой лаконичностью письма, “отвагой недосказанности” дарят радостную нагрузку размышлять над прочитанным.

Не без хорошего пристрастия автор искал и обнаруживал черты сходства своих именитых земляков с теми, кто остался в неизвестной, но великой в своей простоте социальной роли пахаря, хлебороба, воина. Прежде других люб сердцу автора большой российский ученый и путешественник Григорий Потанин — “эта немеркнущая звезда в ярчайшем созвездии прославленных землепроходцев нашей Родины”. Даже выше Пржевальского ставил писатель Потанина, но, конечно, не только за то, что “столбовой пресновчанин — не был в отличие от всех нас” и “все свои путешествия совершал без военного конвоя” — картина гражданской казни Потанина зрительно проста и потому потрясающая (“Было холодно. Моросило. Дул мятежный раскидистый северный ветер. Неуютным, сырым и сумрачным выглядел Омск в этот ранний осенний час. И совсем немного случайных прохожих ошарашенно толпилось, с ужасом взирая на высокий помост эшафота, на котором стоял в сером арестантском халате человек с наголо обритой головой...”).

Выделяя своих героев не столько по принципу землячества, сколько кровного и душевного родства с большой казахстанской землей, писатель с не трибунной, а глубоко личной гордостью говорил о прославивших ее людях: “Но Чокан Валиханов! Это — давняя любовь и печаль моя. Это — особая — с большой буквы глава в пресновских страницах”...

Ивану Шухову был близок и понятен исторический изыск Сергея Маркова, Николая Анова, Павла Косенко, Олжаса Сулейменова — признанных знатоков казахстанской тематики, но автор “Пресновских страниц” всегда обладал собственным ракурсом видения.

Тем и хорош Шухов как писатель-историк, что в малом или большом герое он дает возможность ощутить вполне реальные связи скромной казачьей станицы с широким, разбросанным миром, не осовременивая образы прошлого, а стремясь раскрыть их суть опосредствованно, по возможности избегая лобовых, прямолинейных оценок.

Постоянно слышен его неторопливый голос, ощутительна малейшая интонация — одобрительная, осуждающая, спорящая. Богатейшей гаммой поэтического настроения просвечена шуховская проза, радостно помолодевшая и обновленная. Одной обрывистой и, казалось бы, малозначащей фразой в диалоге, эпитетом, сравнением писатель объяснял многое. И тогда секундно, но как из тьмы выхваченное магниевой вспышкой, остро и запоминающе фиксировалось мгновенное движение человеческой души.

Перечитываешь прозу Шухова, невольно вновь обращаешься к словам одного из писем Горького Ивану Шухову: “...когда читаешь Вашу книгу — чувствуешь, что Вы — как будто были непосредственным зрителем и участником всех событий, изображаемых Вами, что Вы — как бы — подслушали все мысли, поняли все чувствования всех Ваших героев...”

Так оно и есть — был и “непосредственным зрителем”, “участником всех событий”. А долг участника — рассказать о виденном, о прошлом. Память о прошлом нужна для будущего. Это хорошо понимал Шухов.

IV

В постоянном обновлении темы, времени действия, углублении сюжета и психологии образов, уточнении их социальных характеристик, кропотливой, но результативной работе над словом виделся ему смысл и значение нелегкого писательского труда.

Вот почему написанное однажды, как ни было бы оно принято читателями и критикой, — для Шухова было лишь отправной точкой к дальнейшему постижению избранной темы, когда по-новому вставляли с шуховских страниц “неумолимо прямой человек” Роман Каргополов, земляки и сподвижники его — Аблай, Фешка, Елизар Дыбин, Аксинья, Егор, Арефий — эти и другие герои разных по времени книг, но объединенных целостностью авторского замысла, мировоззренческой позицией писателя, которому в корне чужд конъюнктурный подход к изображаемому.

Осознанный историзм художественного мышления, активное неприятие дежурного иллюстраторства, романтических штампов и расхожих приемов позволяли писателю почти в каждой из книг, будь то “Ненависть”, “Золотое дно”, “Степные будни”, “Дни и ночи Америки”, “Родина и чужбина”, “Пресновские страницы” — исторически конкретно осмысливать общественный процесс во всей полноте диалектических взаимосвязей общества и личности.

Этот единственно верный подход “исповедовал” он в переводе, представив русским читателям ряд произ-

ислений Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Габидена Мустафина...

Овладение эпической структурой как в собственных, так и переводных вещах, у Ивана Шухова основано, прежде всего, на развитых формах художественно-психологического анализа, отказе от условно-романтических красотей, “прямых” назидательных сентенций. При этом естественность и самобытный колорит народного говора, радостное многоцветье его красок, щедрые красоты родной природы — все это не фон, а органический “компонент” шуховской прозы, независимо от того, обращался ли художник к очерку или широкому полотну романа. Как у каждого литератора, в творчестве И. Шухова были, безусловно, и слабые стороны, в частности, слишком явственна условность некоторых “вводных” фигур (обычно в их роли выступали мудрые старики — станичники, говорящие авторским голосом), излишняя затянутость и статичность действия, схематичность иных сюжетных линий и образов и т. п.

Но развивая историко-революционную и историческую темы, преимущественно на казахстанском материале (романы “Горькая линия”, “Ненависть”, повесть “Семья”, цикл “Пресновские страницы” и др.), писатель не допускал модернизации героев, их осовременивания, следуя справедливым словам Алексея Толстого: “Если Степан Разин будет говорить о первоначальном накоплении, то читатель швырнет такую книгу под стол и будет прав. Но о первоначальном накоплении, скажем, должен знать и должен помнить автор... В том-то и сила марксистского мышления, что оно раскрывает перед нами правду истории и ее глубину и осмысливает исторические события”.

Шухов как писатель был одинаково верен и дню былому, и дню нынешнему, но вектор устремленности его многожанрового творчества всегда устремлялся в

будущее, которое вырастает из прошлого и настоящего. Зная цену высокому слову публицистики, писатель не относил ее жанр к чему-то второсортному — и тут он сродни добрым традициям Короленко, Горького, Ауэзова, Фадеева... Да и как можно было называть себя современным писателем, не вторгаясь страстно и заинтересованно в жизнь сиюминутную, не живя ее заботами!

В “большую” литературу, как и многих, Шухова привела журналистика. Но даже став “маститым”, писатель увлеченно работал в публицистике, редактировал журнал “Простор”, выступал в “Правде”, “Сельской жизни”, республиканской периодике. И, как правило, любой из своих материалов он писал не вполсилы, а творил с тем же душевным напряжением и профессиональным мастерством, которыми примечательны лучшие его рассказы, пьесы, повести и романы.

Иван Петрович увлеченно и страстно писал о партийных работниках и кочегарах, гидрологах и строителях, сталеварах и бетоноукладчиках, монтажниках и вальцовщиках, восхищаясь трудом наших, советских людей, их душевным благородством, величием дел и чистотою помыслов.

Но выше всех других земных профессий он всегда ставил труд пахаря. Даже в самом коротком газетном или журнальном очерке о хлеборобах у него все подчинялось неукоснительно строгому авторскому замыслу и правилу — рассказать о жизни и заботах ее по совести, дать портрет времени и людей без украшательства и прикрас, ибо — считал он — ничто не оскорбляет так, особенно на склоне писательских лет, как скучное пустое слово или парадная фальшь. Вот почему и поныне можно без конца перечитывать и обнаруживать все новые и новые оттенки и переливы литого шуховского слова в “Золотом дне”, в “Первопроходцах”, в “Веселых грозах”, в “Зимней повести” и “Осенних далях”.

Несобычайно тепла уважительность автора к своим героям: только по имени-отчеству величает их писатель, и здесь тоже сказывается его любовь к нелегкому труду хлебопашца, кровное понимание этого труда и людей, на чьи плечи в страдную пору ложится судьба урожая, а стало быть, и государства.

Публицистика Ивана Петровича Шухова — предметный урок сочинителям дежурных од целинной темы, распаханной ими с завидным усердием вдоль и поперек. Но одно усердие не дает литературного качества. К сожалению, за годы многое из написанного о целине (да только ли о ней!) не выдержало самого ответственного экзамена — испытания временем. Написанное Шуховым — осталось. И в большей степени секрет здесь не только в актуальности темы и писательском мастерстве, но также в глубоком понимании автором преемственности времен, в неостывающем чувстве ответственности писателя за сказанное и написанное слово.

В том же “Золотом дне” неспроста тревожит писатель старину и такие имена: Ермака, “знаменитого сибирского летописца” Михаила Ремезова, Петра Великого, неспроста вспоминает “секретный комитет” Николая Палкина, телешовских “Переселенцев”, выразительный рассказ Ивана Бунина “На край света”, подготовленную В.И. Лениным речь для выступления большевиков в Государственной думе 10 апреля 1914 года — богатейшее созвездие имен, удивительный конгломерат цифр, фактов! И при всем этом — композиционная стройность материала, счастливое сочетание насыщенности фактами и простой, четкой фразы, где, говоря строкой из горьковского письма Шухову, “все слова почти всегда стоят на своем месте”.

Целинная романтика у писателя облачена в одежды конкретные, вполне земные. Ему органически чужды описания лубочные. И это не принижение темы, а ее гражданственное утверждение. Но ничего не стоило бы

оно, или стоило очень мало без самобытного шуховского языка — ритмичного, насыщенного поэтическими тропами, эпитетами.

Думаю — какая же это благодатная тема: “Шухов — журналист”! Она все еще ожидает своего вдумчивого и талантливого исследователя, и отдавать ее на откуп людям пресным и скучным нельзя ни в коем случае.

V

Да, Иван Петрович Шухов не был домоседом. Помнится, когда он вернулся из самой дальней своей поездки — по Сосединным Штатам Америки, где побывал вместе с небольшой группой ведущих советских литераторов (а тогда такие поездки были не столь часты, как сейчас), он никому не отказывал в желании послушать его об увиденном там, за окном, и казалось, по реакции всегда благожелательной к нему аудитории определял, стоит ли ему братья за книгу о поездке или не стоит. Его внимательно слушали в Союзе писателей и партийной школе. На встречи с ним в Казахский государственный университет имени С.М. Кирова приходили не только студенты, преподаватели и газетчики. Сюда приходили молодые рабочие алмаатинских предприятий, воины, ученые. И надо сказать, что с первой же минуты контакт со слушателями устанавливался полнейший, и не было такого вопроса, заданного устно или в записке, который Иван Петрович обошел бы вниманием. Он не уходил в сторону от “каверзных” реплик (случались и такие), но всегда требовал одного — чтобы задавший вопрос показался ему лично. Если же тот отмалчивался, то Шухов пережидал с полминуты и все равно отвечал, не кривя душой, говоря правду и только правду — ее он никогда и ни в чем не боялся, ни в большом, ни в малом.

С книгой об Америке, однако, писатель не поспешал. Работал он над ней старательно и увлеченно, не доверяясь одним лишь своим записным книжкам, на ведении которых он всегда упорно настаивал, когда встречался с нами, молодыми журналистами. Мне памятна одна его личная просьба, и я счастлив, что смог оказать Ивану Петровичу посильную услугу в его подготовительной работе над книгой “Дни и ночи Америки”, — в ту пору я сносно владел английским и перевел с него Ивану Петровичу кипу привезенных им из США материалов. Тут были и забавные газетные вырезки (Газета “Стар”, принявшая увеличенный формат, горделиво сообщала своим читателям: “Раньше в нашу газету нельзя было завернуть бутылку кока-колы или виски. Зато теперь — извольте, пожалуйста!” Или: “Русский погребальщик Петр Ярема. Самые лучшие похороны по самой дешевой цене в Нью-Йорке, Бронксе, Бруклине. Телефон ОР 4-2528”), и яркие путеводители, обеденные меню, концертные программки, географические карты, визитные карточки солиднейших людей, технические проспекты. Запомнилось: Иван Петрович с величайшей скрупулезностью помечал каждую из этих бумаг — год, месяц, день, час и минуты, три-четыре самых емких, по его усмотрению, слова, начертанным характерным, чуть угловатым, чуть округлым шуховским почерком. “Оглушающе грозный фильм”, — написал он на уголке программы ленты Стенли Крамера “На берегу”, поставленном по роману австралийского писателя Невилля Шюта. На карточке газетного магната Генри Сульцбергера: “Сухопар. 82 года. Девиз: “Все новости достойны напечатания!” Кроме своей, никаких газет не читает”. На изящной фотографии Хагар-сквера — Центрального парка: “Здесь могут ограбить даже днем — и грабят же!”

VI

Вот написал я про шуховскую ремарку об американском парке и живо перед глазами встал наш, алмаатинский парк имени 28-ми гвардейцев-панфиловцев. Не было тогда в нем замечательного мемориала Славы, а напротив не было современнейшего сооружения — Дома офицеров. Дом офицеров размещался в островерхом “зенковском” домике с резным крылечком, а двухэтажное здание чуть далее по Пролетарской, к улице Гоголя, занимал Республиканский аэроклуб, наша первая авиационная “альма матер”. Больше двадцати лет минуло с тех пор! По летним субботам грузный, крытый брезентом, аэроюгубовский “студебеккер” привозил нас, курсантов, с дальнего аэродрома, а вместе с нами и наших инструкторов, в город, к ступенькам аэроклуба, где нас приветствовали поднятой рукой гипсовый летчик с уложенным парашютом в ногах и такой же гипсовый учлет.

В тот августовский прохладный вечер мы возблагодарили никогда не унывающего шофера Артема и втроем отправились через парк к автобусной остановке. Мы — это наш славный инструктор Николай Иванович Бордюгов, капитан-орденоносец, а вместе с ним мой друг Володя Лобовский (сейчас летчик-испытатель) и я. Идем в летных комбинезонах и пропыленных сапогах, на головах пилотки. Бордюгов что-то рассказывает, как всегда, интересное. Он провоевал всю войну и провоевал отлично — вся грудь в боевых орденах, с ними он никогда не расставался. Нам очень гордо и лестно идти с ним рядом. Вдруг с боковой аллейки голос, который не спутаешь ни с каким другим: “Слава, а ты что это вырядился по-военному?” Стоит на аллейке Иван Петрович Шухов. Разглядывает внимательно. Впрочем, больше не меня, а сияющий золотом, серебром и латунию орденский “иконостас” на груди Бордюгова.

Бордюгов смолк и под пристальным взглядом явно смущался, вопросительно глянул на меня, но Иван Петрович опередил, протянув нашему боевому инструктору крепкую руку:

— Шухов.

— Тот самый?!

— Тот самый! — удовлетворенно, но без тени самодовольства отвечал Иван Петрович и потряс Бордюгову руку: — Ладно воевали!

Как нам показалось, Иван Петрович чуть скептически оглядел наши с Лобовским “регалии”: значки — комсомольский и парашютный:

— М-м-да-а!.. Пока не густо! И посерьезнел, отпуская руку инструктора и соглашаясь с самим собой:

— Ничего, ребята, у вас вон еще сколько места! И все же — не приведи Бог, а?

— Это точно, — сказал Николай Иванович Бордюгов, тоже соглашаясь вроде бы, но добавил насчет того, что на Бога надейся, а сам...

— ...не плошай! — довершил в тон ему Иван Петрович. А часа через два звонок. Был, конечно, я уже дома.

— Слушай, Слава! А что это за орден у вашего начальника?

— Какой орден? — недоумсваю. — Если вы, Иван Петрович, о Бордюгове, то их много у него. Только Красного Знамени два!

— Знаю. А тот, большой, из литого серебра, звездой, с витязем в шеломе? Он так и сказал — “в шеломе”.

— А-а, так это очень уважаемый орден. Александра Невского.

Иван Петрович помолчал в трубку. Потом сказал: — Спасибо.

Я понял это как финал показавшегося мне немного странноватым разговора.

— Не за что, спасибо, — отвечаю.

— Ничего ты, чертяка летный, не понял! — укоризненно произнес Иван Петрович. — Спасибо, говорю,

передай ему, вашему Бордюгову. Спасибо ему за “Невского”! За орден такой — спасибо!

Что-то дрогнуло в шуховском голосе.

И сейчас, многие годы спустя, вспоминая про ту мимолетную встречу в парке и короткий телефонный разговор, я невольно еще раз думаю о том, как поразительно чуток и душевно бережлив был Иван Петрович Шухов к хорошим людям, даже совсем не знакомым. Он в жизни своей видел Бордюгова только один раз, но хорошо запомнил его — в том убедился я без всяких сомнений через двадцать лет, в памятный мне день, когда он пожелал навестить в родную Пресновку и пронзительно напомнил одним-единственным вопросом, хорошо понятным и радостным мне, а если бы и друзья мои были тогда рядом, то, конечно, им тоже:

— Скажи, а твой Гредов — это тот капитан улыбочивый; с “Александром Невским”?

Поразился я шуховской памяти, ее точности.

— Тот, с “Невским”, Иван Петрович, — отвечаю, и горячая волна благодарности захлестывает всего.

И если о чем остро сожалею сегодня и казнь себя безжалостно, то жалею очень о том, что не позволил себе назвать тогда его, Ивана Петровича, тем, кем он всегда был для меня, есть и останется навсегда, пока жив я, — дорогим. И не только для меня.

Мало кто знает, что Шухов еще и поэт, что он писал, но очень редко печатал стихи взволнованные и простые, по настрою очень схожие со стихами друга его далекой молодости Павла Васильева:

Вы коротким прошли звездопадом
Над страной, летящей в мечту...

О колоритном и разностороннем творчестве Ивана Петровича Шухова, которое верой и правдой служит справедливому делу Революции, великому переустройству мира, нравственному обогащению современников,

можно со всей уверенностью сказать, что без него не только казахстанская литература, но и вся советская неизбежно лишилась бы одной из самых привлекательных и неповторимых граней, своеобразно отразившей незабываемые страницы прошлого и одухотворенный свет новой жизни.

Шухов не очень заботился — много или мало о нем пишут в критике, но сам всегда был не скуп на добрые отзывы о своих коллегах-литераторах. “Очень многим подкупает — меня лично — Олжас Сулейменов, например, — писал он 20 сентября 1971 года. — Его стихи “Земля, поклонись Человеку”, “Глиняная книга” и даже его публицистика — все это отмечено чертами неповторимого, одному ему присущего своеобразия... Я был счастлив своей дружбой с великим моим современником — Мухтаром Ауэзовым, и я столь же счастлив быть современником нынешнего молодого моего друга и товарища по перу — Олжаса Сулейменова”.

А к нередким статьям о своем творчестве и радиопередачам о себе Шухов относился, насколько я знаю, с ироничной усмешкой, но не была она высокомерна, а была добра и уважительна к труду тех, кто о нем писал. Но его все же задевало молчание. Каким-то особенно неприятным случилось оно после того, как его чувствительно и не в меру размашисто “царапнули” за образ генерала Скобелева (справедливо или нет — это совсем другая тема). Мне он был благодарен за то, что в эту пору довелось сказать о нем хорошие слова.

И вот еще о чем скажу. Если в жизни что-то начинает пообвыкаться, казаться рутинным и никчемным, то есть этому противному, как заволакивающая болотная тина, чувству отличное противодействие — это книги Ивана Петровича Шухова, это его проза и его стихи, наконец, это само воспоминание о нем, великом жизнелюбце, глыбистом и скромном человеке, чей путь не был прям, как аршин, а мысль — не как свинцовая литера, отпечаток с которой всегда однозначен.

Она была живой, эта беспокойная, совестливая и постоянно ищущая мысль. И она еще долго будет живой и молодой, как любое воспоминание о нем, потому что его творчеству — думаю — не грозит постарение.

“Да это и было чудом. Сказкой... Дерзкой игрой творческого воображения. Пламенной, пылкой, искрометной ее фантазии. Завидным даром бросающего в оторопь ее вымысла. Раскованной ее волей. Титанической силой. Богатырским размахом. Разгулом. Смелостью. Удачью. Непокорностью никаким сатанинским силам. Не подвластным ни року... ни безвременью”, — мне эти строки из “Отмерцавших марев” кажутся сказанными о самом Шухове, о его творчестве.

Хороших писателей, просто писателей и поэтов в Казахстане и стране много, а Шухов — один.

На книжном стеллаже стоят плотно, одна к другой, его бесценные книги. Почти все до единой. “Шуховский ряд” — особый для меня. Он бесценен еще и тем, что каждая из этих книг — с авторской надписью. С его надписью — Ивана Петровича Шухова. И “Ненависть”. И “Горькая линия”. И “Дни и ночи Америки”. И “Родина и чужбина”...

Без надписи только одна любопытнейшая брошюрка, попавшая ко мне совсем недавно — либретто к фильму “Вражьи тропы” по роману “Ненависть”. Этому либретто сорок пять лет. Картина была снята на “Мосфильме” в 1935 году. В главных ролях снимались артисты М. Нароков, Н. Плотников, Э. Цесарская, М. Ладынина, Х. Давлетбеков, музыку к фильму написал Д. Покрасс...

А в надписях, которые почему-то принято называть дарственными, поначалу по строчке — по две. Просто и даже немного отстраненно: “...— молодому журналисту. Дружески”. Или: “Соседу по нашим былым квартирам”. Но потом — иначе. Слова открытые и щедро-душевные, дай-то Бог оправдать. Раскрываю трепет-

но, когда на сердце неуютно — тепло этих слов греет, особенно последних, которые Иван Петрович четко вывел за несколько недель до своего последнего вдоха. Он передал эти книги, еще пахнувшие свежей типографской краской, не сам, но в тот же день закрепил телефонным звонком.

— Получил, Иван Петрович. Спасибо.

— Так-то! Улыбаешься, поди?

— Улыбаюсь, рад.

Нежен был его голос. Таким он запомнился мне, теперь уже на всю жизнь. Не знаю, прощался ли он тогда...

У ИСТОРИИ НА ВЕТРУ

“Джан” и “Седьмой человек” Андрея Платонова, стихи репрессированных и преданных забвению Павла Васильева и Осипа Мандельштама, Сакена Сейфуллина и Ильяса Джансугурова, “Тысяча дней академика Вавилова” Марка Поповского, “Нестор и Кир” Юрия Казакова, “Последний хиромант” Фазиля Искандера, “Поезд уходит” изгнанного из страны Анатолия Гладилина ...

Какой небывалый по своей смелости калейдоскоп публикаций предлагал в каждом номере своем казахстанский литературно-художественный журнал “Простор” 60-70-х годов! Только в нем можно было прочесть воспоминания Александры Есениной о ее брате Сергее Есенине, поэтические строки опальных Анны Ахматовой и Ольги Берггольц, известные на Западе и никому не известные в Советском Союзе стихи, и прозу лауреата Нобелевской премии Бориса Пастернака, статьи потомственного дворянина Николая Раевского о зарубежной пушкиниане, “крамольные” произведения Михаила Дудина, Юрия Домбровского, Николая Вирты и других. Специально для журнала был переведен антифашистский роман Ремарка “Ночь в Лиссабоне”. “Простор” первый знакомил читателя с литературой наро-

дов Азии и Африки. Ну и, конечно же, здесь, в родном издании своем, печатались переводы романов Сабита Муканова “Годы возмужания” и Абдижамила Нурпейсова “Кровь и пот”, книги Тахави Ахтанова и Ануара Алимжанова.

Из-под крыла “Простора” вышли Олжас Сулейменов и Мухтар Магауин. А выплеснулось все это интеллектуальное богатство благодаря стоявшему с 1963-го по 1974 год во главе журнала “Простор” Ивану Петровичу ШУХОВУ.

Нередко он и его сотрудники брали рукописи у авторов, что называется, неостывшими, прямо с рабочего стола. Они знали, где у кого что может лежать. Шухов сам побывал у жены Горького Екатерины Павловны Пешковой и взял для первой публикации весьма откровенные письма своего наставника и учителя Алексея Максимовича. Приезжая в Москву, большую часть времени тратил на добычу интересных материалов для журнала. Многочисленные друзья его, вроде Юрия Казакова, Сергея Маркова, Вениамина Каверина, с радостью вверяли ему свои произведения. “Дайте 12-й книжке анонс Грэм Грин Водостояние страха повесть десять листов тчк неизвестные страницы Бунина тчк три неизвестных рассказа Аверченко тчк воспоминания Эренбурга Фадеева и Назыме Хикмете тчк все рукописи привезу приветствую всех наших Шухов”. Такие телеграммы и распоряжения от “старика” поступали в “Простор” нередко, и это значило, что журнал наряду с “Новым миром” Твардовского становится явлением общесоюзной литературной жизни.

* * *

Звонкое, полное признания и радости начало писательского пути Ивана Шухова было всеми замечено и восторженно принято. И кто знает, может, так и продолжал бы писать обласканный всеобщим вниманием

литератор книгу за книгой и издаваться целыми томами, да придавила его, как и всех в то время, неразборчивая, все пожирающая репрессивная машина. По кому только не прошла она! Самых близких и дорогих людей не досчитался Иван Петрович.

Взять хотя бы Павла Васильева — задушевного друга молодости, неистовой силы поэта, таланта ядреного, ни у кого не заимствованного, ни с чьей полки не снятого. Как в 23 года в Лефортовку забрали сердечно-го, обвинив Бог знает в какой несусветности, так замучили там и порешили.

И гукнуть о нем не смей, вспоминать не моги! Ох, и болела душа у Ивана Петровича, обливалась кровью! Сердце разрывали ритмы и строчки мил-дружка, в голове ритмы его плыли и стучали, он включал, вписывал стихи Павла где можно и где нельзя в свои романы и повести, и народ принимал их за свои, исстари пришедшие.

Ты скажи, скажи, сестра,
Чей там голос до утра,
Чей там голос ночью раздавался?..

Лишь Анна Каравасева, в год памятного для всех постановления о журналах “Звезда” и “Ленинград” обнаружив у Шухова “пониженное чувство политической ответственности” в избыточной яркости описания комсомольской свадьбы перед началом войны и обвинив его “в примитивном понимании значения колхозной жизни”, бросила упрек в том, что в своей новой книге “Метель” он приводит тексты песен, “принадлежащие перу антисоветского поэта”. “Какие же дела, мысли и намерения людей новой колхозной деревни, кроме свадебных, прервало немецко-фашистское нашествие?” — вопрошает она, автор конъюнктурного романа “Лесозавод”. Крепко был накинут известный платок на васильевский роток! То же самое было и с Есениным — яс-

ным солнышком русской поэзии. Ни заступиться, ни должное воздать.

Разве что где-то среди своих прочесть стих-другой или, приехав в заветное Константиново, еще и еще раз вспомнить о нем вместе с матушкой его Татьяной Федоровной и сестрами Шурой и Катей.

Да, много их было, таких близких, сгинувших в те страшные годы гонения на интеллигенцию. Тут родные и односельчане, друзья детства и юности, собратья по газетным и писательским делам, переведенные в ранг “врагов народа” и расстрелянные Михаил Кольцов и Бруно Ясенский, отбывший сполна все сталинские сроки “колымчанин” Алдан-Семенов, едва унесший от чекистов ноги журналист-“правдинец”, а потом казахстанский писатель Николай Анов. Невероятным ударом были для Ивана Петровича аресты и гибель казахских друзей — первого председателя Союза писателей республики Ильяса Джансугурова, его сподвижников Сакена Сейфуллина, Беймбета Майлина и других.

Нигде ни единым словом не обмолвился Иван Петрович о том жутком расстрельном времени. Но участь впавшего в немилость человека не миновала и его. То была искусственно раздутая по письму в “Комсомольскую правду” история в духе 37-го года с судебным процессом за “морально-бытовое разложение”. Дело “шилось” с большим энтузиазмом, пока до Сталина не дошли сведения о том, что происходит с автором “Горькой линии” и “Ненависти”. Вождь отдал соответствующее распоряжение, и все было тут же прекращено.

Или вот другая несправедливость по отношению к Шухову как к автору сценария фильма “Вражьи тропы” по его собственной книге “Ненависть”. Это была вторая после фурмановского “Мятежа” художественная лента на казахстанскую тему. Картина посвящалась коллективизации в деревне, съемки шли в Боровом, и большую помощь во всем оказывал близкий друг

Шухова, которому он посвятил только что написанный роман “Родина”, — секретарь здешнего обкома партии, он же “легендарный якут” Максим Кирович Аммосов. В 1935 году картина вышла на экран и имела успех у зрителей. Все шло как положено, но в 1938 году Аммосова арестовали как “врага народа”, посвящение ему “Родины” Шухову вменили в вину. Инкриминировали также и то, что Максим Кирович убедил его вступить в партию. И хотя кандидатом в члены ВКП(б) Шухов был принят на заседании ЦК ВКП (б) — честь, которая выпадает на долю немногих, — дела это не изменило. Аммосова перевели во Фрунзе, там устроили над ним судебный процесс, а потом расстреляли. Шухова спас снова Сталин — он хорошо знал его книги. А вот фамилию Ивана Петровича из титров вырезали, и прозвучавшая в фильме песня на его слова “Позарастали стежки-дорожки” до сих пор считается народной.

* * *

Большой страницей в жизни Ивана Петровича стала целина. “Как только было принято решение о ее освоении, — вспоминает Дмитрий Снегин, — Иван надолго перебрался в родные места, безвыездно жил среди хлебопашцев, механизаторов, строителей, секретарей райкомов и председателей сельсоветов. Вместе с ними вбивал в промерзшую землю первые колышки, по ранней ростепели прокладывал первую борозду, по осени собирал первый целинный урожай”.

Целинная эпопея вернула Шухову всесоюзное имя. Он оказался едва ли не единственным русским писателем, который родился в этом крае, бесконечно любил его и старался как можно полнее и интереснее рассказать о нем.

Многочисленные публикации его вошли в книги “Золотое дно”, “Покорители целины” и “Степные будни”. Изданные в Москве и Алма-Ате по горячим следам со-

бытий, они — замечательный документ времени. Правда, многие обвиняли очеркиста в том, что он мало говорит о новоселах, тогда как старожилы этой земли — потомственные горьколинейные казаки-хлеборобы прописаны им красочно и вдохновенно. Оно действительно было так, потому что Шухов привык говорить лишь о том, что знал досконально и глубоко.

* * *

Ну а теперь настало время напомнить, что завершающей книгой Шухова были “Пресновские страницы”, обращенные к детству писателя, и вернуться к “Простору”, где, как уже говорилось, с 1963-го по 1974 год он был главным редактором.

Последователь горьковской традиции бережного отношения к талантам, Иван Петрович сделал все, чтобы извлечь, выявить, разыскать, обнародовать и сохранить едва не потерянный пласт отвергнутой, арестованной, осужденной, преданной анафеме или забвению литературы. И чтобы лучше представить, что это была за работа, приведем хотя бы некоторые письма (точнее фрагменты) из бесконечной почты “Простора” тех памятных лет.

1. 09. 1966 г., Москва.

Дорогой Иван Петрович! Я закончил книгу о Вавилове и сдал ее в издательство. Сейчас уже более для собственного интереса, нежели для издания, пишу последнюю главу, которую можно было бы назвать “Еще 1000 дней”. Это описание следствия по делу Вавилова, его заключения и смерти. В моем распоряжении потрясающие документы: следственное дело, письма Н. И. из тюрьмы, свидетельства его сокамерников. Пожалуй, именно в тюрьме Н. И. показал вершины своего духа: мужество и стойкость его поразительны. Во время следствия (400 допросов за 11 месяцев) он написал большую

книгу “История земледелия земного шара”, а сидя год в камере смертников, прочитал соседям несколько сот часов лекций по биологии. Но все это, повторяю, пишу для себя, ибо если нельзя было сохранить даже описание ареста Н. И., то где уж тут публиковать дальнейшее. Впрочем, время у меня есть, авось дождусь и полного торжества справедливости по отношению к своему герою. Первые шаги уже совершены с помощью “Простора”. Вторая ступень — утверждение при АН СССР комиссии по вавилонскому наследию. Я в числе ее членов и думаю, что кое-что сделать удастся.

Крепко и дружески жму Вашу руку. Будете в Москве — милости прошу ко мне.

Ваш Марк Поповский.

25. 01. 1965 г., Москва.

Дорогой Иван Петрович! Рекомендую к печатанию в журнале “Простор” воспоминания Федора Малова о Вс. Иванове. На мой взгляд, эти воспоминания очень ценны, выходят по значению за рамки просто записок об Иванове.

С дружеским приветом, Сергей Марков.

2. 04. 1965 г., Москва.

Дядя Ванечка! Посылаю Вам поэму С. Поликарпова о Есенине. Думаю, она может Вам подойти. Автор ее молодой — год назад его приняли в Союз писателей, я делала его книжку “Стреноженные гномы”. В своем кругу он человек известный и признанный. Если будут какие-либо материалы еще, я Вам сообщу.

Ваша Таня (Есенина).

15. 05. 1965 г., Москва.

У меня есть к Вам просьба: распорядитесь, чтобы мне за счет гонорара выслали три десятка номеров “Простора” с публикацией стихов Мандельштама. В Моск-

не они будут редкостью, и все будут просить их. Если возможны дальнейшие публикации Осипа Эмильевича в журнале “Простор”, я буду очень рада.

Надежда Мандельштам.

31. 07. 1965 г., Москва.

Буду рад, если “По ком звонит колокол” Э. Хэмингуэя удастся напечатать в “Просторе”. Вступление напишу.

Илья Эренбург.

12. 08, 1965 г., Москва.

Посылаю Вам мой новый роман “Двойной портрет”. Он был объявлен в “Знамени”, но редакция предложила новые поправки, на которые я не согласился по принципиальным соображениям. Знаю, роман велик для Вашего журнала, но все же посылаю рукопись по совету И. Г. Эренбурга, который очень тепло отзывался о Вас.

Жму руку. В. Каверин.

17. 07. 1965 г., Таруса.

Дорогой Иван Петрович! Посылаю маленькую статью о Марине Цветаевой. Честь Вам и слава за то, что Вы нарушаете искусственное заклятие, созданное вокруг этой действительно великой поэтессы.

К. Паустовский.

30. 12. 1965 г., Москва.

Дочь М. Цветаевой — Ариадна Сергеевна переслала мне номер “Простора” с воспоминаниями своей матери и очень советовала мне предложить Вам ценимые ею мои воспоминания, относящиеся к периоду моей дружбы с Мариной Цветаевой и жизни у нее (гг. 1921-1922). То же советует и мой друг К. Паустовский, с предисловием которого должна выйти моя книга воспоминаний “Необыкновенные собеседники” (М. Цветаева,

М. Волошин, О. Мандельштам, М. Булгаков, А. Платонов, Ю. Олеша, А. Грин, Ал. Толстой, А. В. Луначарский, М. Кольцов, М. Горький, И. Катаев, Б. Калмыков, А. Коллонтай, С. М. Волконский, В. Хлебников и др.). Не хотите ли напечатать в “Просторе” отрывки из этой книги?

Эм. Миндлин.

17. 08. 1966 г., Москва.

Решила Вам послать несколько неопубликованных в России стихотворений отца, его высказывания о Чехове, о русском языке, статьи о Некрасове, Короленко, Стороженко, Ф. П. Николаеве и еще что-то. Что касается воспоминаний моей матери Екатерины Алексеевны Бальмонт-Андреевой, то есть в этой большой рукописи две папки, содержащие описание ее первой встречи с отцом. Она читается как законченная повесть, передающая дух эпохи (там много об Элеоноре Дузе, знаменитом адвокате Урусове и т.д.). На какой объем я могу рассчитывать?

И. К. Бруни-Бальмонт.

21. 09. 1966 г., Ленинград.

Дорогой Иван Петрович! Я думаю, Вас как писателя и редактора не может огорчить мое письмо. А вдруг даже и развеселит немножко. Два номера Вашего “Простора” пользуются в Ленинграде каким-то небывалым истерическим успехом... Молодец Поповский! “Тысяча дней” имеет такой сенсационный успех, что Ваш покорный слуга получил эти два номера всего лишь на одну ночь — с 11 вечера до 10 утра. Причем процесс получения был связан с клятвами, божбой и матюгами. Добрая душа, от которой я получил эти книги, тоже литератор. И. Меттер сам достал их на сутки у какого-то биолога. Этот биолог, в свою очередь, выхватил два вышеуказанных номера Вашего журнала у некоего со-

шес знаменитого ученого, которого он так боится, что моему Меттеру даже не решился назвать фамилию.

Знаменитый зазевался, а менее знаменитый спрятал ша “Простора” под пиджак. Если вдруг в Вашей редакции завалилась какая-нибудь грязная верстка этих номеров или потертые, поношенные, уцененные экземпляры, не пришлете ли Вы их мне? Вдруг да судьба мне улыбнется? Ввиду вышеизложенного Вы должны понять, какие грандиозные манипуляции и спекуляции я смогу осуществить, если стану обладателем такого богатства! Как подымутся мои личные акции, представляете себе? На будущий-то год я, конечно, подпишусь на Ваш журнал, если это будет возможно после опубликования Поповского. Вы наши отцы и благодетели, мы Ваши дети.

Юрий Герман.

И вот письмо, полученное после того, как Шухова сняли с поста главного редактора “Простора”. Считается, что имя литератора, о котором идет речь, послужило тому фактической причиной. Публикации произведений его Иван Петрович добивался в самых высших кругах власти.

15. 10. 1965 г., Алма-Ата.

Многоуважаемый Иван Петрович! Когда Магжан Жумабаев, мой муж, выдающийся поэт, автор общеизвестных лирических стихотворений, эпических поэм, переводов произведений классиков русской и мировой литературы, был арестован в начале 30-х годов, я обратилась с письмом к Горькому. Он живо откликнулся, и благодаря его вмешательству муж мой был освобожден из тюрьмы. 30 декабря 1937 года он был вторично арестован, но на этот раз Горького уже не было в живых, и Магжана расстреляли.

Когда мне сообщили о том, что Вы, известный казахстанский писатель, проявляете определенный интерес к творчеству, я не выдержала — я заплакала. Плакала, по-видимому, впервые за три десятилетия слезами радости. За добрую инициативу Вас поблагодарят советские люди!

С уважением, Зулейха Жумабаева.

Какое трогательное, полное признательности и сердечного страдания письмо!

Однако формальным поводом увольнения Шухова была публикация в “Просторе” романа Фредерика Форсайта “День Шакала”, прерванная на половине по прямому распоряжению из Москвы. Это был беспрецедентный случай даже для советского времени, и произошел он якобы из-за потери редактором такой необходимой всем нам бдительности. Книга была написана в жанре политического детектива, где речь шла о том, как убийца-одиночка готовил покушение на президента Франции — генерала де Голля. А поскольку в это время у Боровицких ворот Кремля кто-то стрелял в Брежнева, то Шухова обвинили в том, что он обнародовал скрытую от киллеров всех стран механику изготовления поддельных британских паспортов, овладев которой ничего не стоит выследить и шлепнуть из-за угла хоть президента, хоть генсека. Сам Форсайт не без гордости говорил в интервью “Известиям”, что книга его была включена в список обязательной литературы для слушателей высшей школы КГБ. Но именно поэтому, объяснял автор, он стал в Союзе персоной *pop grata*, и приносил свои извинения редактору “Простора” за то, что тот остался без работы.

* * *

Теперь история эта давно позади. Де Голля и тогда уже не было в живых, а потом ушли вслед за ним в мир

ной и получивший вместе с Государственной премией Казахстана сочувствие общественности Шухов, и “подставивший” его Форсайт.

“Простор”, пройдя через стагнацию в период перестройки, слава богу, удержался на плаву и печатает теперь все, что хочет, в том числе и политические детективы. Но при чем здесь, скажете вы, Магжан Жумабаев? Провинился редактор перед властями, вот его и убрали! “Однако, — читаем мы в книге сына Шухова

Ильи Ивановича, — один старый казахстанский чекист, которому в свое время было поручено в связи с реабилитацией заниматься делом Магжана, прямо заявил мне: отца сняли за попытку напечатать в своем журнале стихи этого незаконно репрессированного поэта-земляка. А “День Шакала” — так, просто удобный повод-предлог”.

Талантливые, высокохудожественные произведения И.П. Шухова пережили земной срок своего создателя. И вполне закономерно, ибо это — классика. А классика не подвластна времени. Она — вечна.

ТВОРЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОЕ ВРЕМЕНЕМ

Художник необычайно могучего дарования, он жил только литературой, а остальное относил в ряд бытовых неурядиц, которые “берут его в полон”. Вероятно, в этой, им самим придуманной формуле, сокрыта убеждающая сила его художественного слова и все жизненные поступки, которые являют собой нечто единое целое, одну полнокровную жизнь творческого озарения.

Иван Петрович был немногословным, в общении даже скупым на слова, надо полагать, он хорошо знал цену душевной энергии, которую трудно восполнить в нашем мире, не устраивающем людей обостренной совести. Но не жалел эту душевную энергию, тратил ее щедро, когда речь шла как раз о востребованности творчества писателей, в силу различных политических инсинуаций вырванных из контекста той или иной национальной культуры, как части культуры общечеловеческой. Достижения, скажем, времен “Хрущевской оттепели” выглядели бы обыденно без подвижнических усилий Твардовского и Шухова. Благодаря им история человеческого духа, оконтуренная первой половиной прошедшего столетия, была представлена на страницах руководимых ими долгое время журналов “Новый мир” и “Простор”.

Его творческое наследие должно сопровождать нас и настоящей жизни. Для нашего молодого государства история — не прошлое, а фактор постоянно действующий.

Шухов не был подвержен предрассудкам, хотя и родился тринадцатым ребенком в семье, проживавшей в Северном Казахстане. Может быть, упомянутая выше его немногословность в общении и неуступчивость в принципиальных вопросах в какой-то степени определялись и этим обстоятельством. В многодетной семье, в которой много шума и есть место родительским окрикам, трудно ведь устроить целеустремленную и полную жизнь. Истину, что цели можно добиться благодаря неустанному и осознанному труду, сродни ежедневному подвигу, Иван Петрович, похоже, усвоил с малых лет и перенес ее в литературное творчество. Единственный шум, который он приветствовал, был шум редакционной работы в “просторовских” кабинетах, спор, рождаемый общением, необходимым литераторам для того, чтобы поддерживать свою творческую форму. Для него это положение составляло суть жизни. “Дорогой Мухтар! — писал он однажды из родной Пресновки Мухтару Омархановичу Ауэзову, с которым связывала тесная дружба. — Сердечно приветствую тебя, милый друг, из северной моей усадьбы, где провожу в полном уединении погожую нынешнюю осень... Кажется, я понемногу стал обретать полную форму...”

Прекрасные фразы: “полное уединение”, “стал обретать полную форму...”. Детей степи связывают свои близкие и родные понятия и темы. Вовсе не случайно Иван Петрович перевел на русский язык — и перевел прекрасно — рассказ Мухтара Ауэзова “Охотник с орлом”. Как позднее вспоминал Иван Петрович, нюанс рассказа и всей совместной работы они долго обсуждали за домашней вишневой наливкой, которую оба уважали. Говорили они, конечно, о многом: о творческих

замыслах, о будущем литературы и, конечно же, о политической ситуации в стране, которая подавляла творческую энергию писателей. Они сполна испытали это на себе.

Мало кто знает сейчас, что от молота советских репрессий Шухова спасло чудо, имя которому А.М. Горький. Мухтару Ауэзову, однажды уже побывавшему в советских тюрьмах, пришлось в 50-е годы, в пору дикой политической кампании “по выявлению казахских националистов”, тайно выехать и жить некоторое время в Москве. А Ивана Петровича Шухова судили в Москве в недоброй памяти 30-е годы за его якобы тесные связи с правотроцкистской группой, “орудовавшей в Северном Казахстане”. Помощник Генерального прокурора СССР, следователь Лев Шейнин, впоследствии известный драматург, даже сообщал в газете “Комсомольская правда”, когда и где будут судить писателя Шухова — врага колхозного строя. Шум в газетах стоял небывалый, за процессом следила вся страна. Шухова даже обвиняли в том, что он физически истязает жену. И это о человеке, который никогда не смел повышать голос на женщину. Судили. А он выжил. Когда в сентябре 1937 года вернулся из Москвы, узнал, что в родном Пресновском районе приговорили к расстрелу четверых, во главе с секретарем райкома В. Конюховым, который на свою беду высоко отзывался о творчестве Шухова. Вот их имена: Василий Конюхов, Карим Капаров, Нияс Уразбаев, Касен Фазылов.

“Жизнь научила”, — уходил Иван Петрович от ответа, когда ему задавали вопросы, которые, по его разумению, не следовало задавать. Он не любил распространяться о своем прошлом, просто творил в настоящем времени, был весь в работе: подбирался, как признавался, к главной своей работе, как потом его друг Михаил Шолохов к судьбоносному рассказу “Судьба человека”.

Мы, многочисленные ученики Шухова, любили его воспоминания, до которых он снисходил чрезвычайно редко. Мы вообще искали любую возможность, чтобы провести час-другой в редакции “Простора”: в ней бурлила литературная жизнь. Вне поля зрения мастера Шухова не оставался ни один молодой литератор, подававший надежды, ни одно талантливо исполненное произведение, в каких бы дальних уголках казахстанских просторов и на каком бы языке оно ни появлялось. Тут было встречное движение: молодые дарования искали встреч с Шуховым, заранее полагаясь на его заботливое отношение, и Иван Петрович торопился им навстречу — привечал их, читал рукописи, терпеливо учил. Если говорить о казахстанских писателях, побывавших “в руках” Ивана Петровича, то его удивительные уроки они вряд ли забудут. Он не говорил о том, что ни одна его книга не выходила к читателям в таком виде, в каком он, автор, хотел бы ее видеть. Однажды только обмолвился, что хорошо бы издать романы “Горькая линия”, “Поединок”, “Ненависть” в их первоначальной редакции, в том виде, в каком они были написаны в его молодые, 20-годы и были высоко оценены А.М. Горьким. Без тех неумелых поправок и купюр редакторов советских издательств, после которых в тексте зияют пустоты, подобно выжженной земле.

Романы эти написаны на богатом и чарующе образном языке, в них сгусток человеческих характеров и судеб, великолепные психологические пейзажи, которые невозможно забыть. Жаль, что образцы его не представлены в наших школьных учебниках.

Основное внимание в этих произведениях сосредоточено на стариках, по его разумению кладези народной мудрости. Именно носителями мудрости предстают перед читателями казах-аксакал Чиграй и русский старик Богдан — они и совесть людская, и недюжинный опыт, к ним идут люди в тяжелую пору, советуют-

ся и черпают в них живительную силу, как те же молодые парни Федор и Садвакас. Смею утверждать, что образ аксакала Чиграя — это лучший образ казаха в русской классической литературе, образ, символизирующий собой нечто неистребимое и вечное, как сама казахская земля.

Цельные, привлекательные образы своих земляков-казахов с любовью были выписаны Иваном Петровичем Шуховым и в известных рассказах “Последняя песня” и “Девичьи косы” — это несгибаемый старый акын Котур Таг, выбравший смерть вместо непонятной счастливой жизни, которую сулила советская власть; это юные степные девушки, которым анненковский казачий есаул отрубил саблей косы, но они сплели аркан, чтобы наказать человека, лишившего их красоты. Есаул, сотворивший зло в припадке бессильной ярости, потом повесился на этом аркане под куполом казахской юрты. Удивительное, если не сказать провидческое, решение финала рассказа, в котором весь Шухов. Редко какой писатель в 30-е годы отважился бы писать столь смело.

Так, открыто пренебрегая опасностью для собственной жизни, но следуя высоким нравственным законам, писали Б. Лавренев и уроженец Казахстана Вс. Иванов повести “Сорок первый” и “Дитя”, которые тоже мало печатались, но, к счастью, получили свое воплощение на киноэкране в отличие от произведений Ивана Шухова. И жаль, что полные драматизма и глубоких мыслей произведения Шухова обойдены вниманием отечественных кинематографистов.

Рассказы Шухова, написанные в 30-е годы, позднее вошли в третий том его собрания сочинений, в котором, кстати, был напечатан и цикл автобиографических повестей “Пресновские страницы”: “Колокол”, “Трава в чистом поле” и “Отмерцавшие марева” — лебединая песня творчества Шухова. “Стояла погожая, предвещав-

шая близкое бабье лето, предосенняя золотая пора. И великие, тихие степи текли и текли — с утра до вечера — навстречу нашим рысистым парным запряжкам. И не было ни конца ни края этому пленительному царству матово-серебристого, зыбкого ковыльного моря. Царству полынного аромата. Простора. Покоя. Воли. Горланного орлиного клекота, трубного — на заре лебяжьего переклика. Печального, тихого звона мечей черноперой осоки и потайного вкрадчивого шороха дремучих камышей по берегам позолотевших от заката озер”.

Какой тонкий лиризм разлит в этих строках, сколько сочных и светлых красок! И сколько любви к земле. Кажется, стук сердца влюбленного в родной край писателя слился с дыханием приишимской степи. Здесь же описывается полная юмора встреча трех мальчишек — Сабита, Габита и Вани. В начале 50-х годов известные мастера прозы Сабит Муқанов, Габит Мусрепов и Иван Шухов вновь встретились в Пресновке, проехали по родным аулам, где прошло их детство, встречались со своими земляками и читателями. Тогда и была сделана редкая фотография трех земляков — классиков мировой и отечественной литературы — и родилась известная фраза: “Три богатыря из Северного Казахстана”.

Сегодня на витринах киосков мы видим массу малохудожественных книг, еще больше обыкновенной халтуры, приносящей прибыль издателям. Нет только настоящей литературы, которой дорожил Иван Петрович Шухов и для создания которой он приложил немало сил. Уместно сказать, что знамение коммерческого времени не должно стать затмением сознания, иначе будут потеряны завоевания духовного порядка, достигнутые с величайшим трудом.

ВИДЕЛ ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Я очень отчетливо помню день, когда впервые увидел Ивана Петровича Шухова. Это было в начале пятидесятых годов в Омске, где я жил тогда. Однажды в центре города возле знаменитого моста через Омку, построенного бельгийцами, я увидел поэта Николая Почивалина, недавно приехавшего к нам из Алматы-Аты. Он шел вместе с невысоким человеком, черноволосым, с необычным, сразу запоминающимся лицом. Высокий Почивалин очень почтительно наклонялся к своему спутнику.

В тот же день Почивалин снова попался мне навстречу и сказал: “Знаете, с кем я шел сегодня? Это Иван Петрович Шухов”.

Сказал он это с необычной интонацией — я никогда не слышал ее в устах этого насмешливого и скептического человека. В этой интонации было не только уважение, не только почтительность, но и восхищение.

Прошли годы. Мне довелось довольно близко познакомиться с Иваном Петровичем, работать вместе с ним, встречаться с ним каждый день, и я стал замечать, что сам говорю о нем с той же интонацией. С ней же произносили его имя и мои товарищи, казахстанские писатели моего поколения. Иначе и быть не могло.

Иван Петрович Шухов был изумительным, неповторимо талантливым человеком. Он всегда держался

абсолютно естественно, позу ненавидел, избегал в беседе высоких красивых слов — и все равно любой собеседник через пять минут видел, что перед ним — художник, поэт по всему своему душевному складу. Шухов видел жизнь взглядом художника, и это было всегда.

Бывает, что у талантливого художника талант, так сказать, несколько заслоняет ум. А Шухов был замечательно умен. Он понимал все. Понимал все в жизни, все мог объяснить. Мне казалось, что его ничего не может удивить. Но при этом он не терял жадного любопытства к новым людям, новым книгам, новым местам и землям. Он полжизни провел в пути.

Он был демократ по всему своему человеческому складу, он ненавидел чванство и хамство. Он был интеллигент высочайшей духовности. И он был вожак. Он знал, куда идти и вел за собой. Редактирование Шуховым журнала “Простор” — это яркая страница нашей культуры. Она сопоставима по своим целям и задачам с редакторской работой Александра Трифоновича Твардовского. Они и воспринимали друг друга как союзники и коллеги.

Для нас, писателей-казахстанцев, Шухов был живым олицетворением связи с вершинами литературы, с нашей классикой. Вот я пожимаю его руку и думаю, что ее пожимал Горький. Помню, как он выступал на обсуждении редактируемого им журнала в правлении Союза писателей в Москве в 73-м году. Обстановка перед обсуждением была довольно напряженная — кое-кто хотел свести с журналом и Шуховым счеты.

Иван Петрович встал, оглядел большую комнату и начал: “Я помню, как в этой комнате я много раз говорил с Алексеем Максимовичем Горьким, Александром Сергеевичем Щербаковым, Александром Александровичем Фадсевым...”

Много людей сидело в комнате, были там и литературные чиновники и временщики, были и действительно талантливые писатели, лучшие наши писатели на тот день. Но и из них ни один не мог бы повторить слов Шухова. Из прямых учеников Горького здесь был он один.

И этот эпизод переломил ход обсуждения, оно прошло очень благожелательно и кончилось выводом, что “Простор” — это первый республиканский журнал, ставший всесоюзным.

Я счастлив, что знал Ивана Петровича Шухова.

ВОТ ТАК И ПОЗНАКОМИЛИСЬ

У восточных народов есть интересная притча: если, встречаясь, два товарища дарят друг другу по 100 динаров то, у них прибавки нет, сколько было денег, столько и осталось. А если выскажут друг другу по одной мысли, то каждый из них становится духовно богаче. Сказано мудро. И жизнь подтверждает это.

Встречи, общение с известными людьми для каждого являются большой школой. Не скрою, мне повезло в этом отношении. Я встречался, слушал лекции, выступления выдающихся людей нашего времени — М.О. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мусрепова, К. И. Сатпаева. Моими наставниками, учителями были известный тюрколог С. Амагоколов, доктора филологических наук, профессора К. Жумалиев, Т. Нуртазин и многие другие. Не менее приятными были незабываемые встречи с Иваном Петровичем Шуховым.

Апрель, 1955 год. Я работал директором Жаркенской неполной средней школы Жамбылского совхоза Пресновского района (ныне Жамбылского). Совхоз образовался на базе трех бывших колхозов: “Жаркен”, “Суатколь”, “Есперли”, а центральную усадьбу строили на новом месте, в 25 км от аула Жаркен. Тогда грейдерной дороги не было, а между Суатколем и Жаркеном было непроходимое болото. Весной единственное транспортное средство — трактор с санями.

Однажды, во второй половине дня, к школе подъехала “техпомощь”. Из машины вышли четверо. Одно из них я знал. Это был заведующий Пресновским роно Г.Л. Македонов. Георгий Леонидович первым представил человека небольшого роста, с пронизательным взглядом. Для знакомства достаточно было назвать только его имя и отчество. Я знал Ивана Петровича Шухова, читал его произведения. Недавно в областной газете был опубликован его очерк о нашем совхозе, да и слышал, что он живет в Пресновке. С ними также были заместитель заведующего облоно Сергей Шевченко (заслуженный педагог, писатель, ныне живет в г. Павлодаре) и журналистка Г. Бушланова.

Иван Петрович сказал, что объезжает целинные совхозы по заданию центральных газет, знакомится с жизнью и бытом первоцелинников. Время, хотя и трудное для передвижения, но зато ответственное — последние приготовления к весеннему севу. А его спутники — по своим делам.

Гостиницы в ауле нет, гостей пригласил к себе. Сразу после института этот дом показался мне дворцом, а когда в него вошли высокие гости, подумал, что может привлечь в этом жилище? Построен из пластов, деревянный пол занимает только небольшую часть, одним словом — мазанка! Посередине большая печь, которая служит перегородкой между кухней, гостиной, спальней и детской. Из мебели — низкий круглый стол, кровать, большой сундук. Вот и вся обстановка. Но, видимо, приехавшие не впервые в таких условиях ночевали. Мы провели прекрасный вечер в непринужденной беседе, с шутками, анекдотами.

В школе Ивана Петровича интересовало все, даже то, когда и кем построено здание. Пояснил, что это был дом из 6-ти комнат, построен в конце 20-х годов состоятельным местным баем Аубакиром Куркиным. Его сын — Сагандык Куркин — учился в русской школе, был

революционером. Когда началась коллективизация и на пустом месте образовался аул Жаркен, Сагандык вынудил отца освободить свой дом и отдать его под школу. Таким образом, только что построенное сооружение разбирается по бревну, переносится на другое место и становится украшением аула. Рассказал я и о трагической гибели Сагандыка Куркина. Во время продрозверстки его убили кулаки из Дмитриевки.

На следующий день, часиков в семь, Иван Петрович с бригадиром Прасоловым на “техпомощи” поехали по полям, чтобы встретиться с механизаторами.

По итогам поездки по целинным просторам писатель написал более десяти очерков и рассказов, опубликованных в союзных, республиканских, областных изданиях. Среди них очерки “Первопроходцы”, “Семеро смелых”, “Золотое дно”, “Старожилы поднятой целины”, “Зарницы над нивам”, “Обновленная земля” и т. д.

Другая наша встреча состоялась в Петропавловске весной 1958 года. Мы с Г.Л. Македоновым приехали в областной центр на совещание директоров школ. В этот же день встретили Ивана Петровича, который пригласил в свою резиденцию. Ему были выделены две смежные комнаты в здании облисполкома, где Шухов готовил свои произведения к печати. По настоянию писателя мы с Григорием Леонидовичем остались ночевать. Нам выделили тюфяк и одеяло на двоих. Шел разговор, в основном, о трудностях, в двухтомник избранных произведений Шухова должно было войти все, в том числе рукописные и не опубликованные до этого рассказы, повести, очерки.

Иван Петрович рассказывал о своих планах. О жизни казачества, казахов, их дружбе, о писателях-коллегам. Особенно тепло отзывался о, своих земляках: Сабите Муканове, Габите Мусрепове. С большой теплотой говорил о М.К. Аммосове. Максим Кирович Аммо-

сов в начале 30-х годов работал первым секретарем обкома партии, проявляя заботу о творчестве молодого писателя.

А.М. Горького Иван Петрович считал своим наставником, учителем. С гордостью говорил, как пролетарский писатель дал высокую оценку его творчеству. Действительно, в письмах (трех) Горького не только советы и пожелания старшего, но и оценка мастерства начинающего писателя, забота о коллеге.

Еще одна встреча с Иваном Петровичем состоялась в 1976 году в Петропавловске. Я работал в горкоме партии, и один день высокий гость был в нашем распоряжении. Тот приезд пришелся как раз на его 70-летие. И, кажется, в тот раз он был у нас проездом из Москвы, с последнего Всесоюзного съезда писателей. Запомнился его рассказ о ходе форума писателей, об отдельных эпизодах выборных процедур.

— У нас, писателей, — говорил он, — настоящая демократия, не так, как у вас, партийцев.

Мы организовали встречу писателя с читателями, земляками на заводе Кирова, посетили музей. Руководители завода, поздравив Ивана Петровича с прошедшим юбилеем, подарили магнитофон “Медео”. На другой день мы проводили писателя в Алм-Аты. Весной следующего года его не стало.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ

Давно в душе таилось желание рассказать о дружбе с Александрой Александровной Есониной. Но стыдливое чувство, что это может быть истолковано превратно, как попытка “примазаться” к знаменитой фамилии, сдерживало меня. А сейчас, на склоне лет, подумалось: ведь какие-то страницы ее жизни, какие-то черты характера этой незаурядной личности останутся в тени, так почему же надо промолчать, не сказать о том, что знавала я.

Общеизвестны прекрасные стихи великого поэта, посвященные младшей сестре Шуре: “Я красивых таких не видел”, “Ты запой мне ту песню, что прежде”, “Ах, как много на свете кошек”, “В этом мире я только прохожий”. Эти стихи датированы 25-м годом. Тогда Шуре было всего четырнадцать лет. Но в этой девочке брат улавливал чуткую, трепетную душу, которая согревала его в мятежной жизни.

...Запосшь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?

И еще:

...Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь —
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

Младшая сестра пронесла через всю свою жизнь непомерный груз трагической судьбы гениального брата. Девочкой-подростком она в какой-то степени была его моральной опорой, живым напоминанием об отчем доме, родном крае. Потом надо было пережить полосу его душевного кризиса, скитальчества, пагубного влияния богемы, окружавшей поэта. Надо было пережить годы враждебных наветов, преследований, забвения его творчества и выстрадать его тяжкую смерть.

Но, слава Богу, выпало на долю Шуры Есениной и радостное время — время всенародного признания поэта, его мировой славы.

Первая встреча

В сентябре 1946 года я впервые после войны получила трудовой отпуск и приехала в столицу. Я так мечтала о ней, и наконец сбылось: “я ш-а-г-а-ю по Москве”. Однажды мы шли мимо сквера Большого театра, и чей-то женский голос окликнул: “Ваня!” На скамье сидели трое — мужчина и две женщины. Оглянувшись, Иван Петрович мгновенно узнал подбежавшую к нему невысокую худенькую женщину: “Шура!” Они обнялись, взволнованно стали спрашивать друг о друге. Ведь не виделись все годы войны. Шура с детьми была в эвакуации в Тюмени, И.П. — на фронте и в своей североказахстанской станице. Подбежала и молоденькая особа и с укоризной спросила: “Дядя Ваня, вы меня не

узнали?” Это была дочка московского писателя, в чьем доме когда-то бывал И.П. и видел ее совсем маленькой.

Меня представил Иван Петрович, и я почувствовала пристальный взгляд Шуры. Растерянность моя была так велика, я не знала, как вести себя, что сказать, и это не могло пройти незамеченным. Александра Александровна обняла меня за плечи и предложила всем: “А давайте-ка поедем сейчас на Хорошевку, теперь мы там квартируем, то-то обрадуются Петя и ребята”.

Я подробно рассказываю об этом потому, что хочется припомнить все, что связано с Шурой Есениной — от первой нашей встречи до самой последней...

Квартира на Хорошевском шоссе была небольшой, собственно, я запомнила только одну комнату с ее старомодным шкафом-комодом. После знакомства со всеми домочадцами А.А. предложила мне “порыться” в ящиках комода, пока женщины будут возиться на кухне, а мужчины поговорят-покурят. Вот тут я испытала первое потрясение. Столько сокровищ, связанных с именем Есенина, я и не мечтала увидеть. Тут было все: и книжные издания, и рукописи, и письма, и множество фотографий, запечатлевших поэта в разные годы его жизни. Безумно хотелось узнать достоверно обо всех фактах его биографии, ведь прежде о них узнавалось из скудных сообщений в печати, из судов-пересудов, вымыслов и сплетен. До сих пор у меня сохранились пожелтевшие листки школьных тетрадей, где нетвердой детской рукой записывались строки есенинских стихов, случайно услышанных от взрослых, передававшихся из уст в уста. Ведь эта поэзия в ту пору считалась почти запретной.

С трудом оторвалась я от шкафа, когда позвали к столу. Шура все это поняла и, улыбнувшись, сказала, что мы встретимся еще не раз. (К счастью, это действительно сбылось.)

При прощании А.А. спросила, когда я собираюсь возвращаться в Алма-Ату. Отпуск у меня кончился в конце сентября. “Как жаль, — сказала Шура, — 3 октября — день рождения Сережи, мы всегда бываем на кладбище, вот и вы бы поехали с нами”. Господи! Как тут было не загоревать. Однако решение пришло в тот же вечер. Посоветовавшись с Иваном Петровичем, я телеграммой попросила редакцию продлить отпуск без содержания на неделю.

Третьего октября вся Шурина семья и мы приехали на Ваганьковское кладбище. Это тоже было для меня потрясением. Возле могилы толпилось множество людей всех возрастов: старушки с молитвенным выражением заплаканных глаз, бледнолицые юноши, с надрывом читавшие стихи Есенина и свои посвящения. Москвичи и приезжие, кто ежегодно в этот день бывал на могиле поэта, узнав Шуру, почтительно расступились. Александра Александровна поклонилась всем и возложила на могилу осенние цветы.

С той поры, за исключением нескольких лет, мне удавалось к концу сентября приезжать в Москву и в день памяти поэта обязательно бывать на его могиле. С каждым моим приездом мы все теснее сближались с Шурой. Возникшая между нами взаимная симпатия переросла в крепкую, ничем не омраченную дружбу. Но она возникла не на пустом месте...

Тридцатые годы...

По воскресеньям в гостеприимном доме писателя Петра Ивановича Замойского и его жены Нины Павловны собиралось много интересных людей. Любили приходить сюда и молодые, и уже известные литерато-

ры. Тон задавал хозяин. Он был изумительным рассказчиком, и это придавало особую прелесть воскресным всчерам. Часто бывал здесь и Иван Шухов. Имена Замойского и Шухова уже тогда были у всех на слуху. Их романы получили широкое читательское признание.

— Нам с мужем, — рассказывала мне Шура, — особенно нравилось, когда И.П. читал стихи. А так, как он читал Есенина и Павла Васильева, я, пожалуй, больше никогда не слышала. Душа замирала, когда, склонив над столом голову, вполголоса он читал есенинское: *“Проплясал, проплакал дождь весенний”*.

А после строфы:

Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи,
Вытянет персты.
Близок твой кому-то красный вечер,
Да не нужен ты... —

он откидывал рукой свои густые, непослушные волосы и с волнением говорил: “Это же гениально!”

Шура рассказывала мне и о встречах с Иваном Петровичем в доме общих знакомых — известной писательницы Лидии Николаевны Сейфуллиной и ее сестры. Три дочери Зои Николаевны — Ира, Мила и Наташа — были примерно одного с Шурой возраста. Веселые, жизнерадостные девушки любили собираться вместе со взрослыми. Всегда звучала музыка, читались стихи, пелись романсы. Лидия Николаевна с удовольствием проводила вечера с молодежью и всегда просила спеть ее любимое — “Есть одна хорошая песня у соловушки” и “Вечер черные брови насопил”. Все понимали, что у Милы и И.П. зарождается сильное чувство. Однако впоследствии что-то помешало их близости.

Поведала Шура и такую историю. Во второй половине тридцатых годов для творческой интеллигенции, в том числе и для Шухова, наступили тяжелые времена. Резкие выступления в печати, прямые угрозы вынуждают его покинуть столицу. Однажды Шура предложила ему поехать в их родное село Константиново, где домовничала их престарелая мать. Встреча с Татьяной Федоровной Есениной стала для Шухова настоящим праздником души. Старая женщина и молодой писатель как-то легко нашли общий язык.

Дружба

В это понятие Шура вкладывала все то, что могут дать близкие люди друг другу. Открытость, доверительность, сопереживание и в горестях, и в радостях становились стержнем, на котором крепились наши отношения. И возникла та волшебная простота в общении, когда не надо было ни красоваться, ни лукавить, а тем более фальшивить. Все было на виду. Я могла пожаловаться на хитросплетения жизни, на что-то очень личное — и встречала полное понимание, желание поддержать, успокоить, поискать выход. Мне доверялось тоже многое из того, что не вынесешь на улицу, не расскажешь первому встречному. Шурина семья, как впрочем и каждая, требовала непомерных душевных затрат. Две дочери-красавицы, взрослый сын — у всех характеры сложные, мятущиеся.

Шурка, как по-домашнему называли сына, то и дело разочаровывался в избранной профессии, менял службы. Нередко охладевал он и к своим избранницам, иногда это заканчивалось серьезными осложнениями. Достаточно сказать, что квартиру на Хорошевском шоссе пришлось оставить женщине с его ребенком. У младшей дочки Светланы не всегда ладилось с учебой, с сердечными делами. Свои проблемы возникали и у стар-

шей — Татьяны. Словом, забот и тревог у матери было предостаточно.

Сказать, что дети были избалованы, заласканы — повсе нет. Росли они в трудное время: война, эвакуация, материальные невзгоды. Но сколько бы ни обрушивалось неприятностей на голову Шуры, она всегда старалась понять, рассудить те или иные поступки дочерей и сына, помочь им уйти от ошибок.

Сдержанная в эмоциях, мягкая, немногословная, Александра Александровна бывала и непреклонной, твердой, когда это касалось нравственных устоев семьи. Так, например, она жестко настояла на том, чтобы посылка из Англии на имя Светланы была немедленно возвращена в посольство. А случилось это после того, как у них в доме побывали гости из Великобритании — горячие поклонники Есенина, пожелавшие познакомиться с его младшей сестрой. Среди них был молодой человек, не сводивший глаз с очаровательной племянницы поэта — Светланы. Не прошло и нескольких недель после этого посещения, как из английского посольства переслали посылку — ни много ни мало — с богатейшим подвенечным нарядом. Можно себе представить, как загорелись русалочки глаза Светланы! Но, не раздумывая долго, этот дар возвратили отправителю.

Не одобряла Шура ухаживаний за дочерьми женатых людей. Тут у нее был свой закон: супружеская верность и преданность — основа семьи. Примером детям были отец и мать. В шутку их называли “Джюлька и Ромка”, то есть Ромео и Джульетта. Много невзгод и лишений они пережили, но всегда сохраняли достоинство, порядочность и постоянство. Совершенно разные по характеру: внешне уравновешенная, спокойная, с распевным, тихим голосом Шура и шумливый, весь как на шарнирах, подвижный и торопливый Петр Иванович. Вместе, дополняя друг друга, они были прекрасной парой.

Есенины-Ильины были всегда ограничены в средствах, жили если не бедновато, то весьма скромно. Единственным источником доходов был заработок Петра Ивановича — корреспондента отраслевой газеты “Гудок”. Шурина пенсия была мизерной (только в последние годы двум сестрам — Екатерине Александровне и Александре Александровне была установлена государственная персональная пенсия). Но тем не менее в их доме всегда встречали приветливо, желанно, угощали “чем Бог послал”.

Я видела Шуру в разное время и в разных обстоятельствах. И в те дни, когда мы гостили в ее родном селе Константиново, и на приеме в Центральном Доме литераторов, и на торжественном вечере, посвященном 75-летию Сергея Есенина, в Колонном зале Дома Союзов, и на просмотре фильма о поэте на киностудии имени Горького — везде ощущалось почтительное отношение к ее личности. Она обладала притягательной силой своей душевной величавости, достоинства и благородства. Шуре не надо было облачаться в дорогие одежды (у нее их никогда не водилось), украшать себя замысловатыми прическами, косметикой. Все это было как бы не для нее. И тем не менее облик ее был прекрасен в своей естественности и простоте. Добрый взгляд, никакой рисовки, вычурности, желания обратить на себя внимание.

Опрятность во всем — это, наверное, было у нее врожденным свойством. За годы моего знакомства у Есениных сменилось несколько квартир — от малых до больших. И все они светились чистотой и порядком.

Шура в Алма-Ате

Однажды позвонил Петр Иванович. В разговоре обмолвился, что у “Джули” разболелась печенка, а к врачам ни в какую. Кроме сочувствия и пожелания здоро-

вья — что тут скажешь? Но вот в одной из алматинских газет прочитали сообщение об успехах врачевания этих недугов в небольшой сельской больничке. Навели справки. Оказалось, действительно два врача совхозной больницы применяют свой метод лечения печени и добиваются положительных результатов. Ну, конечно, мы с ходу звоним Есениным и усиленно советуем приехать. И как ни удивительно, Шура засобиралась к нам.

Тем временем Иван Петрович поехал в совхоз, что недалеко от Алма-Аты, встретился с двумя врачами, узнал, смогут ли они принять иногороднюю пациентку. Обе милые женщины всполошились: “Как, к нам, из Москвы?” Но уговорам поддались, пообещали подготовить место в палате и сделать все возможное.

Шуру встретили, вдосталь наговорились, а наутро И.П. повез ее в совхоз. Но там тоже не дремали. Сельские врачи дозвонились до бывшего своего институтского наставника профессора Райза, упросили его проконсультировать москвичку. Короче говоря, известный хирург, бегло ознакомившись с характером заболевания, предложил Шуре лечь на детальное обследование в условиях Турксибской больницы. Там она пробыла несколько дней, и профессор высказал ей свое мнение: операция показана, но какой смысл делать ее вдали от дома, когда московский хирург такой-то (фамилию он назвал) — большой специалист в этой области.

Все мы несказанно обрадовались возвращению Шуры к нам домой. К этому времени прилетел Петр Иванович, и зажили мы дружной семьей. В своих воспоминаниях об этом времени Александра Александровна написала: “Через неделю, выйдя на “волю”, я осталась погостить у своих любезных хозяев. И как же тепло и легко мне было тут. Днем они работали, а я бродила по улицам, знакомилась с городом. Красива весенняя Алма-Ата с ее цветущими бело-розовыми садами, белющими снеговыми шапками над зелеными предгорьями

ями Алатау. А вечерами собирались на кухне — самом уютном, как это часто бывает, месте в квартире — и то ли обедали, то ли ужинали, но засиживались допоздна за разговорами и песнями, и опять, как тогда в Константиново, совсем не хотелось расходиться на покой. В один из таких алматинских вечеров Иван Петрович предложил мне выступить с воспоминаниями о брате по местному телевидению. Я засомневалась, будет ли это интересно казахским зрителям. И.П. очень на меня рассердился: “Ну что ты выдумываешь, о чем ты говоришь? Есенина знает весь мир, и в Казахстане к нему огромная тяга. Тут у тебя просто устарелые взгляды”. Словом, выступление мое по телевидению все-таки состоялось. Кажется, прошло оно хорошо”.

Растрогана Шура была и встречей, организованной журналом “Простор”, с местными литераторами. “Дорого знать, как много истинных почитателей и знатоков поэзии Есенина”, — поблагодарила она собравшихся.

Уезжали наши гости в чудную пору цветенья яблонь. Сама природа подарила им на прощание свое богатство и красоту.

Прощание

Последние годы были омрачены многими бедами в наших семьях. Реже мы стали видеться, меньше писать друг другу — не хотелось огорчать друзей. А 1977 год был просто трагическим. В канун Первомая скоростно скончался Иван Петрович Шухов. Есенины переживали одну смерть за другой. Ушла из жизни старшая сестра Екатерина Александровна. Умер сын Саша. Это сильно подкосило здоровье Шуры и Петра Ивановича. В своем письме ко мне она написала: “Когда Вы сообщили о смерти Вани, я совсем упала духом. Я почувствовала себя очень одинокой, так как друзей оста-

ется все меньше и меньше. Я знаю, что Вам тоже не легко, но Вы мне очень дороги, не менее чем Ваня, и потерять Вашу дружбу мне тяжело. Мне так хотелось побыть с Вами. Я редкий день не вспоминаю о Вас. Если сможете, напишите мне, как теперь сложится у Вас жизнь...”

Где-то в мае 1981 года позвонила Светлана: “Мама тяжело больна, лежит в больнице. Хорошо, если бы Вы приехали”. Я поехала. Шуру поместили в отдельную пркрасно оборудованную палату правительственной больницы. За ней был установлен перwokлассный уход. Но она угасала. Несмотря на тяжкие боли, сознавая всю безысходность своего положения, она как могла крепилась, не стелая, не жалуясь. Только едва светились по-прежнему добрые ее глаза.

Александра Александровна скончалась первого июня 1981 года. Последний раз я побывала на Ваганьковском кладбище несколько лет спустя. Татьяна привела меня на “Есенинскую аллею”. Здесь не менее десяти могил — Шуриной семьи, семьи ее старшей сестры, родных. В оградках все ухожено, опрятно. Много цветов. Неподалеку Таня похоронила и своего мужа — знаменитого шахматиста Сало Флора. Ее семейная жизнь была счастливой, но недолгой. Теперь нет и Тани.

Когда-то мудрец изрек: “Все проходит!..” Прошли годы, согретые дружбой близких, дорогих людей. Но хорошо, что были эти годы. И за это надо благодарить судьбу.

КОЛОКОЛ НА МИЗИНЦЕ БОГА

... Навеки полюбились нам и бескрайние ковыльные степи, и волнующе мягкий и нежный рисунок смутно синеющих вдаль березовых колков, и обнаженные вершины придорожных курганов, и трубный клич поднимающихся на рассвете с воды лебедей, и ослепительно сияющие под полуденным солнцем посолоневшие от жары озера. Все это было, есть и будет бесконечно дорого, мило и близко нашему сердцу, сердцу, горячо влюбленному в землю, вспоившую и вскормившую нас.

Иван Шухов. “Дым отечества”

В доме Шухова

Я побывала в Пресновке, на родине известного казахстанского писателя Ивана Петровича Шухова.

Мне очень хотелось увидеть эти места в разгар солнечных дней, на “празднике царствующего лета”, описанных писателем яркими красками в “Пресновских страницах”. Но так уж случилось, что моя встреча с Пресновкой состоялась поздней осенью. Небо было затянуто темными, точно свинцовыми, тяжелыми тучами, из которых мелко и нудно моросил то дождь, то снег. И, несмотря на теплую встречу заведующей Дома-Музея Ивана Шухова Натальи Михайловны Бурлаковой, заведующего отделом культуры Балтабая Темиртасо-

нича Рамазанова и даже акима сельского округа Абая Кошкарбаевича Кайсина, на душе было как-то беспокойно и холодно. Может, оттого что было холодно в большом административном здании, в котором отапливалась только одна маленькая комната, где мы беседовали. В печи горел огонь, но даже его отблески и треск поленьев, которые всегда создают особое настроение и уют, не смогли согреть мою душу, уставшую от долгой дороги и от не очень-то приятных впечатлений. День закончился разговором о задачах музея, о его бедах и оптимистических надеждах на будущее.

С огромным нетерпением я дождалась утра, чтобы увидеть то, ради чего сюда приехала, — дом, в котором жил друг и даже какое-то время родственник Павла Васильева (они были женаты на родных сестрах Анучиных) Иван Петрович Шухов, и архив его Дома-музея, втайне надеясь, что здесь, кроме знакомства с материалами об Иване Петровиче Шухове, я найду что-нибудь новое и о Павле Васильеве. Но, к сожалению, ничего нового я не нашла. Это были несколько папок с фотографиями Павла Васильева и Галины Анучиной, дочери поэта Натальи Павловны, копии фотографий Павла с известными литераторами, документы, которые были переданы из архивов Натальи Павловны Фурман и Евгении Анучиной, т.е. материалы, которые уже имеются в Доме-Музее Павла Васильева. Но зато архив Ивана Петровича Шухова превзошел все мои ожидания. Собрано большое количество оригиналов уникальных документов, представляющих непреходящую ценность. Это и его первый рукописный дневник 1923 года, и рукописный дневник путешествий в Америку, на основании которого была написана книга “Дни и ночи Америки”, фотографии родных и близких, рукописные письма Евгении Анучиной к Ивану Петровичу Шухову с упоминаниями о литераторах, с некоторыми характеристиками поэтического окружения, и Ивана

Шухова и Павла Васильева в те далекие 20-30-е годы. Здесь встречаются имена В. Квитко, С. Маркова, А. Сорокина, Е. Забелина, Н. Титова, Е. Зарубина, Дж. Алтаузена. Все они связаны с жизнью и творчеством Павла Васильева. Уникальна переписка с издательствами, Институтом мировой литературы, в том числе имеется письмо Ивана Михайловича Гронского, редактора журнала “Новый мир”, от 20 октября 1936 года, с приглашением принять участие в собрании писательского актива. А также — произведения Евгении Анучиной: пьеса “Мечте навстречу” 1950 года; повесть “Странствование сердца” издательства “Советский писатель” 1936 года; дружеские письма Евгении Анучиной к Ивану Шухову, в то время уже женатому на другой.

Перечитывая эти документы, вновь соприкасаешься с бурной литературной жизнью Ивана Шухова. Особенно волнуют письма 20—30-х годов, немного наивные, но в то же время открытые и душевные. Среди переписки — письма А. Твардовского, Е. Пермитина, В. Каверина, Л. Мартынова, рукописные письма К. Кулиева к И. Шухову, С. Муканова к А. Твардовскому. Имеется переписка И. Шухова с А.М. Горьким и его женой Е. Пешковой, с сестрой С. Есенина Александрой, с Дм. Снегиным и многими другими.

С особым волнением я вошла в дом, где жил “казахстанский Шолохов”. Внешне дом казался небольшим, но внутри было довольно просторно. Вот я вижу веранду, комнату, где писатель отдыхал и обдумывал свои новые сюжеты, прихожую, гостиную с накрытым чайным столом, с фотографиями и картинами, с пианино и трюмо, кабинет с рабочим столом писателя, на котором — печатная машинка, чернильный прибор, пепельница, телефон, этажерка с книгами, и кажется, что Иван Петрович только что положил очки на отпечатанный текст своего произведения, повесил пиджак на спинку стула и ненадолго вышел.

На диване я вижу балалайку, на которой любил играть писатель в часы досуга. У стола на стене висят два портрета: Алексея Максимовича Горького и Павла Васильева. И уже не нужно говорить, как высоко ценил и хранил в своем сердце Иван Шухов гениального друга и его поэзию. И поэтому совсем не случайно Сергей Павлович Шевченко в своей книге о Павле Васильеве “Будет вам помилование, люди...” пишет, что именно Иван Петрович Шухов познакомил его с поэзией Павла Васильева, в то время запретного поэта, и рассказал о его жизни и трагической судьбе.

Все это волнует, завораживает, и не хватает только домашнего тепла, чтобы поверить, что этот дом по-прежнему обитаем.

Есть в музее Шухова стенд, представляющий немаловажный период жизни и творчества Ивана Петровича — время работы редактором журнала “Простор”.

Во время руководства Шуховым журнал “Простор” пользовался огромным авторитетом в издательских кругах и огромным спросом. К Ивану Петровичу обращались с просьбами выслать номера журналов, которые не удалось купить.

Это время пришлось и на мою сознательную жизнь. Я работала воспитателем в молодежном общежитии. И новые интересные материалы для ведения клуба “Лира” черпала со страниц журнала “Простор”, который тогда соответствовал требованиям самого искушенного читателя.

Современники Шухова, коллеги по “Простору”, отмечают его трепетное отношение к настоящей литературе, нетерпимость к серости, пошлости, чванству. И не случайно Марк Поповский написал: “Но отныне и навсегда рядом с лучшими Вашими романами будет стоять в истории русской литературы Ваше великолепное детище — “Простор”.

Я покидала родину Ивана Петровича Шухова, и неожиданно из-за туч показалось солнце. Еще долго в окно автобуса мне была видна стела с надписью “Пресновка 2030” и на ней три портрета великих людей Жамбылского района — Габита Мусрепова, Сабита Муканова и Ивана Шухова, а перед глазами стоял портрет Павла Васильева над столом Ивана Петровича Шухова и его стихи под портретом, которые писатель взял эпиграфом к своей повести “Колокол”:

...Наши деды с вилами дружили.
Наши бабки черный плат носили.
Ладили с овчинами отцы.
Что мы помним? Разговор сорочий,
Легкие при новолунье ночи.
Тяжкие лампы. Бубенцы!..

Петропавловск *Материалы архивов*

Вернувшись в Петропавловск, я продолжила свою исследовательскую работу в Государственном архиве. Мне хотелось найти следы некоего Григорьева — автора письма-доноса на Ивана Шухова в “Литературную газету” от 1938 г., которая была обнаружена мной в РГАЛИ Москвы. Вот его содержание:

“Пока не кончено предпринятое прокуратурой Союза следствие, нельзя сказать, соответствуют ли действительности все выдвинутые против Шухова обвинения. Уже несомненно, что в письме, опубликованном в “Комсомольской правде”, есть некоторые преувеличения. Однако бесспорно, что значение этого дела с общественной и литературной точки зрения необычайно велико. Писатель Иван Шухов, уроженец станицы Пресновской, С. К. О., несмотря на полную литератур-

ную профессионализацию, продолжает жить и работать на Родине в своей станице, черпая материалы своих произведений из общений с жизнью и бытом людей, из внимательного изучения истории, экономики и классовой борьбы родного края.

Вслед за известными произведениями “Горькая линия”, “Ненависть” и малоудачной “Родиной” писатель свыше года работает над новой книгой о восстании казахов 1916 года. Казалось бы, писатель, непрерывно живущий на периферии, должен быть органически связан с широкими народными массами района, области, республики, тем более что он является крупнейшим русским советским писателем Казахстана. Между тем интересы писателя, его реальная дружба ограничиваются только верхушками района и области.

Роман “Родина” посвящается бывшему секретарю Аммосову. В Пресновке, на почве бесконечных выпивок, устанавливается далеко не здоровый контакт с ныне отозванным секретарем района Конюховым, а также со снятым председателем ВРИКа Копаревым и другими “приятелями”. Дело доходит до того, что из-за личной близости к жене Шухова Копарев снимается по просьбе Конюхова Аммосовым из Пресновского района.

Можно привести немало фактов, свидетельствующих о явно вредной спайке Шухова с людьми, впоследствии оказавшимися уличенными в неблагоприятных поступках.

Бывшие руководители района создали вокруг писателя атмосферу угодничества и подхалимства. Будучи кандидатом партии, Шухов принимал участие в заседании бюро райкома, решая вопросы, не имеющие к нему никакого касательства, таким образом косвенно содействуя ряду неправильных мероприятий райкома. В то же время контакт с руководителями области и республики Шухов использовал для разрешения в экстраординарном порядке таких вопросов, которые

должны были решаться нормальным партийно-советским путем.

Все это, как правило, — сказал в беседе с нами секретарь обкома Сегизбаев, — делало Шухова чем-то вроде вельможи. Разумеется, писатель получает огромное число писем от своих читателей, на многие он отвечает, дает консультации начинающим, но этим исчерпывается контакт писателя со своим читателем.

Встреч с писателями, конференций, обсуждений книг, выступлений с отчетом перед читателями-казахами, а также читателями ближайшего города Петропавловска не бывает, а исчерпывает участие в общественной работе только по содействию строительству электростанции и Дома культуры, за что услужливые подхалимы уже предложили назвать его именем Шухова. Конечно, нельзя также подменять контакт и дружбу с коммунистами района общением только с секретарем райкома, тем более что последний оказался замешанным в троцкистских связях. Положение, в каком очутился Шухов, не может не вызывать тревоги. Ни вельможей, ни одиночкой писатель, живущий на периферии, быть не может, и если он бродит сейчас по пустым комнатам своего дома в тягостном одиночестве, то в этом виноват прежде всего он сам. Писательская общественность, разумеется, не может остаться в стороне от этой истории и должна сказать Шухову слова осуждения и помощи.

Станица Пресновская, Северный Казахстан.
Григорьев”.

(Редакция “Литературной газеты”,
опись 1, дело 728, на 84-х листах).

Хитро и тонко автор этого письма окутывает Ивана Шухова нитями связи с секретарем райкома, опороченного и обвиненного в троцкистских связях. Это сейчас уже известно о реабилитации М.К. Аммосова, о его заслугах перед родиной. А в то время это письмо могло стать роковым. Могло, но, к счастью, не стало...

В отделе партийных документов были обнаружены заявления Ивана Шухова о принятии в партию, рекомендации членов партии, постановления о принятии в члены ВКП(б).

В то время человек, дающий кому-то рекомендацию в партию, нес партийную ответственность за данного человека, за его взгляды, поступки. Когда первым в списках дающих рекомендацию Ивану Шухову я увидела имя Андрея Кияницы, это было воспринято мною как должное. Кто, как не лучший друг Ивана Шухова, Андрей, знал всю его жизнь, был близок до последних дней.

Следующим в списках стоял Самарин Федор Иванович, член партии с 1927 года, № партбилета 1594386, редакция “Ленинское Знамя”, ответственный редактор, знает И. Шухова с 1934 года.

Третьим рекомендуемым был Заспа Петр Федорович, коммунист с 1932 года, № билета 2924647, Пресновский РКВКП(б) К, заведующий партийным кабинетом.

На этом же листе — Решение общего собрания первичной парторганизации о приеме из кандидатов в члены ВКП(б) от 4 марта 1940 г. и Решение райкома, горкома ВКП(б) о приеме из кандидатов в члены ВКП(б): от 9 марта 1940г.

Решение первичной парт. орг. при Пресновской средней школе от 3 марта 40 г., протокол № 2 “О приеме из кандидатов в действительные члены ВКП(б) тов. Шухова Ивана Петровича.

Утвердить. Принять из кандидатов в действительные члены ВКП(б) т. Шухова И.П. Стаж установить с 3 марта.

М.П. Подпись секретаря райкома, горкома.
(Елеукин) 4 апреля 1940 г. “

Ивану Петровичу Шухову везло на встречи с людьми, которые на определенном этапе его жизни играли решающую роль. Заинтересовавшись романом “Горь-

кая линия”, увидев в нем талантливого писателя, его поддержал А.М. Горький. Отзыв Алексея Максимовича на роман, встречи с Иваном Шуховым, письма к нему сыграли огромную положительную роль в дальнейшем творчестве молодого литератора, о чем Иван Шухов помнил и говорил всегда.

Но ведь нам известны и другие примеры: в жизни Павла Васильева А.М. Горький сыграл “роковую” роль. Имя прокурора Вышинского до сих пор бросает в дрожь тех, кто жил в суровые 30-е годы. В судьбе же Ивана Шухова он оказался справедливым и объективным. Вот что пишет в своей автобиографии в 1940 г. сам И. Шухов:

“В июле 1937 года, когда против меня было возбуждено уголовное дело бывшей моей женой, я был заочно исключен из кандидатов КП (б) К, по решению бюро Пресновского РККП (б) К. Как известно, мне был предъявлен ряд тягчайших обвинений. Но в результате обстоятельного расследования моего дела и суда над мной и благодаря вмешательству прокурора ССР тов. Вышинского было установлено, что все самые тяжкие обвинения, выдвинутые против меня в письме отца моей бывшей жены, опубликованном в мае 1937 года в газете “Комсомольская правда”, оказались неосновательными. Суд присудил меня к двум годам условного наказания, но потом судимость с меня была снята в июле 1938 года. Комиссией партийного контроля при ЦККП (б) К я был восстановлен кандидатом партии...”

Ст. Пресновская

3 марта 1940 г.

И.Шухов”.

О творчестве Ивана Шухова, в том числе о его книге “Ненависть”, положительно отозвался И.В. Сталин.

Судебные разбирательства над Иваном Шуховым происходили в 36-37 годах, когда его друг Павел Василь-

ев был в застенках НКВД. И только по счастливой случайности не нашлось “доброжелателя”, который упомянул бы о дружбе Ивана Шухова с Павлом Васильевым. Все могло обернуться иначе. Но по воле Божьей Ивану Петровичу Шухову была дана возможность жить и творить, помогать молодым писателям и поэтам, пропагандировать творчество незаслуженно забытых и запретных.

В газете “Аргументы и факты”, № 43 за 1966 г. была напечатана переписка И.П. Шухова, мне хотелось бы привести несколько выдержек:

”Таруса 17 июля 1965 г.

Дорогой Иван Петрович!

Посылаю маленькую статью о Марине Цветаевой. Честь Вам и слава за то, что Вы нарушаете искусственное заклятие, созданное вокруг этой действительно великой поэтессы...

К. Паустовский“.

“Уважаемый Иван Петрович! Благодарю Вас за номер “Простора “. Очень рада видеть такую отличную подборку (стихов Мандельштама. — Ред.). Посылаю два документа о моем наследственном праве на сочинение Осипа Эмильевича. У меня есть еще одна к Вам просьба: распорядитесь, чтобы мне за счет гонорара выслали десятка три номеров “Простора “ с публикацией. В Москве они будут редкостью, и все будут просить их. Будете ли Вы отмечать юбилей Данте? У О.М. есть большая статья (“очерк “, как говорил Андрей Белый) — “Разговор с Данте“. Я думаю, из нее можно было бы подобрать две-три главы для журнала. Еще раз благодарю Вас.

Надежда Мандельштам “.

Мы знаем, что после смерти Надежды Мандельштам даже в 1980 году архив Осипа Мандельштама был арестован, и не случайно Надежда Яковлевна передала большую часть архива библиотеке Принстонского университета.

Печатать стихотворения Марины Цветаевой, Павла Васильева, Осипа Мандельштама, в то время еще полузапретных поэтов, — это огромная ответственность и мужество. Но Иван Петрович Шухов всегда публиковал то, что считал “настоящей” поэзией, не оглядываясь, рискуя своей репутацией, своим постом редактора журнала “Простор”. Не каждому это было по силам. И свое отношение к гениальным поэтам он выражает в строках из поэмы, посвященной П. Васильеву:

... Вы коротким
Прошли звездопадом
Над страной,
Летящей в мечту.
О героях,
Погибших в тридцатом,
Этот реквием
Я пишу...

И.П. Шухов является Почетным гражданином города Петропавловска, в котором есть улицы имени и Ивана Шухова, и Павла Васильева.

Встречи в библиотеке им. Шухова, в историко-краеведческом музее, где ныне находится литературный отдел, принесли свои положительные результаты: произошел обмен документами, историческими фотографиями, печатными материалами. Благодаря краеведам мне удалось найти и отснять на видеокассету исторические здания Петропавловска, среди них здание реального училища, где работал Николай Корнилович Васильев — отец Павла Васильева.

В результате этой поездки в архиве Дома-Музея Павла Васильева пополнен фонд Ивана Петровича Шухова, в котором собраны уникальные материалы: книги, документы, фотографии, отснят видеоматериал, пополнивший видеобазу Дома-Музея, а в перспективе

он будет основой создания видеофильма об Иване Петровиче Шухове.

Число экспонатов Дома-Музея увеличилось на 172 единицы хранения. Среди них есть оригинал телеграммы, датированной 30 августа 1976 года, от трудящихся города Павлодара с поздравлениями Ивану Петровичу Шухову с 70-летним юбилеем и высокой правительственной наградой — орденом Дружбы народов. Телеграмма подписана Исаевым, бывшим в то время секретарем обкома партии, и председателем облисполкома Садвакасовым.

Коллектив Дома-Музея ставит перед собой задачу не только сохранить имеющиеся экспонаты, уникальные документы, но и пополнить фонды новыми, сделать их доступными для казахстанских исследователей и любителей поэзии, так как пришло время, когда литературные памятники становятся основными объектами исследования литературоведов, историков, филологов, этнологов, поэтому в Доме-музее ведется работа не только с материалами Павла Васильева и его поэтического окружения в 20-30 годы, но и с материалами казахстанских писателей и поэтов, в том числе с архивами поэтов литературного объединения имени Павла Васильева города Павлодара.

Послесловие

Недавно, созвонившись с заведующей Дома Шухова, с радостью узнала, что в Пресновской школе состоялась первая беседа о жизни и творчестве Павла Васильева, зазвучала его поэзия, а 21 декабря, к Дню рождения Павла Васильева, проведены Васильевские чтения, оформлена выставка материалов о его жизни и творчестве “Суждено мне неумной песней в этом мире новом прозвенеть...”.

...На территории шуховского заповедника, в звоннице специально выстроенной небольшой башенки, зву-

чит колокол, который собирает пресновчан в дни торжеств, посвященных дню памяти и дню рождения И.П. Шухова, к дорогому для них дому. Вспоминается вечевой колокол, изображенный И.П. Шуховым в его повести, на котором, по словам автора, было написано:

“Пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших, Прийдите ко Мне все страждущие и обремененные и Аз успокою Вы!”

Вспоминаются и строки из стихотворения Павла Васильева “Крестьяне”, написанного поэтом еще в 1934 году и только недавно обнаруженного в архиве Д. Санникова:

...И колокол пространства голубой
Раскачивался
На мизинце Бога...

Звон этих колоколов в судьбах сынов земли казахстанской неповторим, как прожитая жизнь. Документы их жизни и творчества будут храниться рядом — и в Доме-Музее Ивана Шухова, и в Доме-Музее его друга Павла Васильева.

И пусть эти колокола звучат в память об ушедших талантливых земляках, гудят набатом, напоминая нам о гражданском долге: сохранить памятники истории и культуры Казахстана.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Несколько лет назад мы узнали о судьбе великого поэта, нашего земляка Магжана Жумабаева. А могли бы узнать о нем намного раньше, если бы кое-кто из писательского круга не использовал свое влияние, чтобы зачеркнуть славное имя в нашей литературе, конъюнктурно спекулируя на политических взглядах поэта, который никогда не ходил в адъютантах ни в какой партии.

Чувство соперничества, зависть к таланту, родовые пережитки стали камнем преткновения на пути к полной реабилитации поэта в 60-е годы.

В недалеком 1965 году профессор, доктор филологических наук Хайрулла Махмудов, профессор-филолог, переводчик и литературовед Александр Жовтис, наш земляк, поэт — переводчик Хамза Абдуллин организовали лекции со студентами Казахского Государственного университета им. С.М. Кирова о Магжане, его стихи перевели на русский язык Олжас Сулейменов, Александр Жовтис.

Таким образом молодежь знакомилась с поэтическим миром Магжана.

Я был участником того самого собрания в Казахском Государственном университете, обратившегося с просьбой к Правительству Республики об издании Магжана Жумабаева, о котором я слышал еще в детстве в

своем родном ауле Караагаше и находился под очарованием его прекрасных стихов.

Эти поэты-писатели и ученые собирались издать в журнале “Простор” статью о жизни и творчестве поэта. Главным редактором этого журнала был наш земляк, большой писатель Иван Петрович Шухов, который с воодушевлением взялся за выпуск статьи.

Студенты филологии КазГУ практически не покидали стен редакции журнала “Простор”. Все с нетерпением ожидали очередной номер журнала с портретом Магжана. Почти у всех работников журнала был на виду портрет молодого человека с густой шапкой кудрявых волос, с выразительными глазами, очень обаятельного Магжана.

Однажды я очутился в коридорах редакции по каким-то своим делам — навстречу шел главный редактор журнала Иван Петрович Шухов. Заметив меня, пригласил в кабинет, где сидели многочисленные работники редакции. Как только зашел Иван Петрович, все замолчали в ожидании услышать что-то важное.

Не получилось, — сказал Шухов, — но Магжан все равно будет издан, наступит такой день. Всем находившимся в кабинете, в том числе и мне, Иван Петрович подарил портрет Магжана. Вид у Шухова был разочарованный и грустный. Но нашим надеждам суждено было сбыться лишь четверть века спустя, когда, наконец, сняли табу с его творчества. Единственным для меня утешением в те мои студенческие годы стал снимок Магжана Жумабаева, подаренный в редакции.

В те годы журнал “Простор”, благодаря своему редактору, замечательному писателю Ивану Петровичу Шухову, дал “зеленую улицу” неопубликованным произведениям Андрея Платонова, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, и в числе первых журнал решил поведать об опальном казахском поэте.

Учитывая политическую обстановку того времени, поступок Ивана Петровича Шухова был очень смелым. Хотя и не удалось опубликовать стихотворения Магжана, Иван Шухов поразил всех своим героическим, гражданским поведением.

Мы должны быть благодарны Ивану Шухову за поистине братское чувство к выдающемуся казахскому поэту, равнодушное отношение к его трагической судьбе. Именно в подобного рода ситуациях познается цена истинной братской дружбы между русским и казахским народами.

В повести писателя “Пресновские страницы” есть такие строки: “Почти в каждом встречном ауле находились гостеприимные отцовские тамыры — дружки. По вековому, неписаному закону степи они с непритворной охотой привечали и потчевали нас в своих восхитительных — прохладных в зной и теплых в непогоду — уютных юртах”.

Да, корни тамырства очень глубоки.

ЗАВЕТЫ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШУХОВА

Он был верным сыном и гражданином Казахстана, человеком своей, советской эпохи, открывшейся нам теперь не только с парадной, но и с потаенной, трагической стороны. Пришло время не только по традиции посмертно благодарить писателя за его талант и гражданские доблести, но и осмыслить его внешне благополучную судьбу художника на фоне нашей истории и современности.

Народный

И.П. Шухов — пожалуй, первый в Казахстане русский писатель, который удостоился не только правительственных наград, Госпремий, избрания в местные и центральные органы власти, но и четырехтомного “Избранного” (1963). Спустя два года после его смерти, вышел сборник воспоминаний о нем, представленный такими известными именами, как С. Муканов, Г. Мусрепов, Н. Анов, М. Каратаев, Ю. Домбровский, А. Тажибаев, Ю. Герт, М. Симашко... В середине 80-х годов вышло его Собрание сочинений в пяти томах. Однако все это не означает, что писатель был фаворитом властей, они же отлучили его от “Простора”, насильно отправив на пенсию и приблизив безысходный апрельский инфаркт 1977 года.

Шухов сразу завоевал признание простого, массового читателя — не только своих северо-казахстанских земляков, но и всего крестьянства, которому особенно тяжело пришлось при Советской власти, начиная с коллективизации. Его поддержал народ. Еще до введения официального звания “Народный писатель” Шухов уже имел авторитет и славу такого писателя.

... Но не “народник”

Несмотря на трагические события и судьбы героев, книги Шухова оптимистичны. Он не избежал социального заказа партии подтвердить правильность ее сельскохозяйственной политики, да и не стремился к этому. Вряд ли и принуждал себя к идеологической и художественной апологетике ее. Это, вероятно, была чистая, добрая вера коммуниста (вступил в члены ВКПУ(б) — в 1938 году) в правду и гуманизм ленинских большевистских идей. Но произведения его никогда не создавались в угоду политической конъюнктуре, как, например, многотомный колхозный роман Ф. Панферова “Бруски”. У Шухова — главный интерес к человеку и его родине, к его земле и труду.

Вот почему Горький считал, что Шухов-художник среди советских писателей-деревенщиков — “народник” менее всего”, т.е. никогда не впадал в “слащавую романтику” Златовратского, Засодимского и других в изображении “консерватизма деревни”.

Казачьи казахи

Сегодня главные романы Шухова — “Горькая линия” и “Ненависть”, прекрасные воспоминания “Пресновские страницы” — перечитывать небесполезно. Они напоминают о том, что Сибирское казачье войско не только защищало границы Российской империи от кочевников, но и выполняло (вполне открыто) военно-колониатор-

ские функции. Причем сословные амбиции были в его среде так велики, что казаки позволяли себе изгаляться не только над киргизами, но и собственным братом — русскими переселенцами из голодающих губерний России. Но суть лежала глубже. Вот характерный диалог казаков, брошенных на усмирение взбунтовавшихся кочевников, — из “Горькой линии”:

— И кака така незавидна участь выпала нам казакам, братцы, штобы веки вечные мирных жителей усмирять? — жаловался, валяясь на попоне Агафон Бойбаба.

— Толкуй, тоже мне. Как это так — мирных? — откликнулся Спирька Саргаулов.

— А вот так. Ты слушай готовое, што я говорю. Мне в одна тыща девятьсот пятом году чалдонов в городе Усть-Камене плетьми драли? Факт налицо. Драли. И за што драли? Убей меня, не знаю.

— А тебе и знать не положено.

— Это как так — не положено?!

— А вот так, што ты есть нижний чин. Скажут: дери — дери. Скажут: помри на этом месте. Помирай без разговоров.

— Ну, это, брат, не дело — скажут. Я сам понимать хочу...”

Шухов показывал, что казахов и казаков всегда стравливали политики, государственные временщики царской России. Главное в том, что без дружбы, прочной связи и взаимодействия с кочевниками казакам той же Горькой линии пришлось бы в степи несладко. Институт “тамырства” объединял два народа и, несмотря на классовые препоны, регулировал межнациональные отношения.

Сколько прекрасных страниц в своем творчестве посвятил писатель этому неофициальному, естественному, зачастую кровному братству! Нет, не собирались наши деды воевать и отделяться друг от друга!

Пространство “Простора”

“Простор” приобрел особый интерес и значение, когда редактором его был Шухов (с 1963 по 1974 г.). За это десятилетие в нем были напечатаны повести Г. Мусрепова “Однажды и на всю жизнь”, А. Алимжанова “Синие горы”, роман И. Есенберлина “Схватка”, удостоенные республиканских Госпремий, отмечено 125-летие Абая, открыты новые литературные имена: Вл. Берденников, Г. Бельгер, Ш. Елеуменов, Вл. Владимиров, А. Устинов, Г. Кругляков, впервые были опубликованы неизвестные произведения О. Мандельштама, И. Бунина, А. Платонова, Б. Пастернака, воспоминания сестры Есенина... Всего и всех не перечислишь.

Нападкам идеологов подвергались прежде всего не просто отдельные произведения, а программа его редактора — программа преодоления литературного провинциализма. В своих выступлениях и статьях Шухов, уже опираясь на всесоюзный авторитет “Простора”, говорил о том, что главной задачей журнала является “художественный и публицистический рассказ о сегодняшнем дне Советского Казахстана”, пропаганда казахской литературы на русском языке. Главная же задача русских писателей Казахстана — это “не только изображать жизнь республики... но и глубоко раскрывать одно из самых удивительных явлений нашего времени — крепнущую дружбу народов”. Однако не менее важной задачей он считал и “создание среды, свободной от групповщины, дающей возможность для творческого соревнования”, для освежения и расширения духовного пространства журнала.

Когда “Простор” начинали душить под благовидным предлогом — “казахстанский журнал только для казахстанских литераторов”, Шухов на VI писательском съезде республики в мае 1971 года заявлял, что журнал вообще издается не столько для писателей,

сколько для читателей, что “авторский актив должен ориентироваться не на некий безличный казахстанский уровень, а работать с учетом нынешних профессиональных требований”. Чтобы “поубавить местнические претензии”.

Хорошие заветы оставил Иван Петрович своим просторовским преемникам. Жаль только, что часто предавались они забвению. А Иван Петрович, может быть, жизнь свою положил за “Простор”, за подлинное творчество и литературное братство.

Патриотизм по Шухову

До сих пор тешит нас соблазн считать зачинателями русской литературы Казахстана Дм. Фурманова, Вс. Иванова, П. Васильева, Е. Пермитина и др. Иван Петрович здесь не исключение. По его мнению, именно эти писатели заложили традиции искреннего художественного интереса к казахам, к поэтизации казахстанского интернационализма. Русский писатель имеет здесь свой материал: быт, история и культура Казахстана, историческое сближение самых разных народов на его территории.

Все так, кроме того, что названные выше писатели в основном жили и работали за пределами Казахстана. В 30-х годах и Шухов через Горького хлопотал о квартире в Москве, но со временем местом постоянного жительства избрал Казахстан — родную станицу Пресновку и Алма-Ату.

Немаловажная деталь его биографии

Казахстан со временем становится ему интереснее изнутри. Не только как история Сибирского казачества, но и как социально-культурное, бытовое взаимодействие двух народов. Уже в начале 30-х годов он назы-

вает его своей родиной, иронизирует над расхожей газетной экзотикой: “Кстати о Казахстане, по свидетельству неких бойких журналистов, у нас знают, что там есть Турксиб, что кочевники живут в войлочных юртах и пьют кобылье молоко. Но многим неизвестно, что в этой громадной степной республике живет свыше двадцати национальностей, что это край сложнейших социально-экономических классовых и национальных отношений”.

Конечно, по условиям времени о голоде 30-х годов и начавшемся строительстве Карлага — ни слова, но Шухов уже ощущает себя казахстанцем не просто географически, а творчески — это край “сложнейших отношений”. Именно писатели, подобные ему, на всю жизнь сохранившие чувство Отечества, оставшиеся в Казахстане несмотря ни на что (даже на то, что родились и выросли, например, в России), заложили основу русской республиканской литературы...

Теперь, когда после падения Советской власти и суверенизации республик русские писатели, и не только, двинулись вдруг на историческую свою родину, а то и дальше, пример Шухова примечателен. “Отсюда идут корни моей тематики, — подчеркивал он. — Здесь я ищу своих героев. А где же еще?”

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛ ПЕРО

В списках североказахстанцев, награжденных медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.”, хранящихся в областном государственном архиве, значится: “Шухов Иван Петрович — писатель”. Эту скромную, но, пожалуй, самую дорогую для тыловика награду Иван Петрович получил в 1946 году вместе с рабочими и колхозниками, врачами и учителями, руководителями и культработниками, — всеми, кто ковал победу в тылу. Значит, плоды труда писателя и журналиста были также необходимы для победы, как хлеб, выращенный колхозником в поле, или гимнастерка, сшитая швеей в цехе.

К Великой Отечественной войне И.П. Шухов был уже известным, признанным писателем далеко за пределами Казахстана, его произведения читались и перечитывались людьми разных поколений.

И.П. Шухов был не только автором романов и рассказов, но и незаурядным журналистом. Он работал и в центральной “Крестьянской газете”, и в омской газете “Рабочий путь”, в новосибирской — “Советская Сибирь”, и в уфимской — “Красная Башкирия”, и в самарской — “Волжская коммуна”, и в московской — “Сельскохозяйственный рабочий”.

“К литературе пришел я из газеты, — отмечал в своем творчестве впоследствии Иван Петрович. — Ра-

бота в краевой печати Сибири и Урала разъездным корреспондентом дала мне очень много, в смысле тематического обогащения, в тренировке глаза и уха, в развитии наблюдательности и подборке, сортировке и осмыслении фактов и в обобщении их”.

Эта “тренировка глаза и уха” пригодилась писателю как нельзя кстати в годы Великой Отечественной войны. Война застала автора “Горькой линии”, “Ненависти” и других произведений о Северном Казахстане в Пресновке. С первых ее дней он начал редактировать местную районную газету “Ударник”, одновременно являясь корреспондентом областной газеты “Ленинское знамя”. Уже в августе-ноябре на их страницах были опубликованы первые очерки “Боевые будни” и “Вооруженные станицы”, где говорилось о земляках-патриотах, их мужестве и героизме.

Огромным писательским опытом И.П. Шухов предвидел, что развязанная Гитлером война — самая тяжелая из всех войн, и потребует она колоссального напряжения от всех и каждого для достижения трудной победы. Источник уверенности в поражении врага писатель находил в своих земляках, в знании истории жизни.

“Как один, — продолжает Иван Петрович, — мгновенно готовые к смерти и бессмертной славе, поднялись вместе со всем великим советским народом сибирские линейные казаки. И по-новому ярко озарились картины боевого прошлого этого мужественного, смелого, ни разу не запятнавшего чести боевых знамен и славы русского оружия, храброго народа”.

Дважды, в 1942 и 1944 годах, И.П. Шухов выезжал на фронт в составе делегаций североказахстанцев к воинам-землякам. Несколько раз был непосредственно на переднем крае под Нарвой и Невелем, на фронтовых дорогах Эстонии. Писатель не мог, несмотря на риск, не слетать на военном самолете через Ладожское озеро в блокадный Ленинград. Он испытал “чистый, священ-

ный трепет при первом взгляде на суровый и строгий облик чудесных площадей и проспектов этого города-богатыря России”, не мог “без волнения смотреть на осколочные шрамы на великолепных зданиях знаменитого Невского проспекта, на страшные руины Петергофа и Красного Села”.

Увиденное и услышанное И.П. Шуховым на войне, равно как героизм тружеников тыла, умноженное на талант писателя и журналиста, обрело свою плоть в очерках той поры: “Дыхание Родины”, “В подземном городе”, “Казачи — люди русские”, “Дым Отечества” и других.

Произведения И.П. Шухова первой половины Великой Отечественной войны — самого тяжелого для народа как в житейском, так и в морально-психологическом плане — находили своего читателя в тылу и на фронте.

Интересный эпизод произошел с очерком “Боевые подруги”, напечатанным в пресновской газете “Ударник” к Международному женскому дню 8 Марта в 1942 году. В основу очерка писатель положил материал, собранный им во время первой поездки на фронт. Месяц спустя И.П. Шухов получил письмо с фронта от одной из героинь очерка, бывшей жительницы Петропавловского района, медсестры Веры Трофимовой: “Здравствуйте, уважаемый товарищ Шухов! Ваш очерк читали все наши девушки-фронтовички, а также наши боевые товарищи, и у каждого из нас после прочтения появилась жгучая ненависть к врагу и стремление к быстрейшему и окончательному его разгрому. Ваш очерк, где Вы с полной ясностью описали мой героический поступок, читал наш народ, читали мои земляки — и это для меня самое дорогое и самое ценное в моей жизни, ибо уходя на фронт, я, как и всякий воин Красной Армии, приняла присягу и поклялась своей Родине, своему народу драться с врагом храбро, уме-

ло, с достоинством, — и эту клятву я с честью выполняю...”.

Писатель, получив письмо, испытал чувство глубокого волнения и своей личной причастности к происходящим событиям. Позднее военные очерки И.П. Шухова были опубликованы через Совинформбюро в крупнейших газетах США и Англии. Его “Письма сибирским казакам” печатались на страницах журнала “Октябрь” (№ 2, 1943 г.), а главы из них звучали в мае того же года по московскому радио. Новосибирское радио в июне 1943 года организовало специальную композицию, в основу которой были положены очерки нашего земляка.

Будучи известным в стране, И.П. Шухов оставался по-прежнему североказахстанцем: регулярно встречался с журналистами областной и районной газет, выступал перед коллегами по перу со своими отчетами, делился наблюдениями и фактами из фронтовой жизни. Он говорил, что ему выпала большая честь в важном, всенародном движении петропавловцев и жителей области — сборе и передаче на фронт подарков от земляков. И свои поездки на фронт в составе делегаций североказахстанцев он описал правдиво и достоверно.

“Свыше двух недель провели мы на передовых позициях среди своих земляков. Мы обстоятельно ознакомились с боевой жизнью фронтовиков, командиров и политработников действующей армии. С большой радостью я могу сообщить, что вчерашние трактористы, комбайнеры, рядовые колхозники нашей области сейчас выросли в замечательных бойцов и инициативных, талантливых боевых командиров и политработников. Так, например, тов. Ивановский, бывший работник облвоенкомата, сейчас командует подразделением, получившим за боевые заслуги переходящее Красное знамя части. А бывший машинист депо станции Петропавловск т. Жаринов является комиссаром этого подразделения.

Комиссар Жаринов является исключительным авторитетом среди бойцов”.

Произведения И.П. Шухова военного лихолетья, как и сама жизнь писателя, в то время стали яркой страницей его биографии, неиссякаемым источником писательского вдохновения, достойным вкладом в летопись трудовой и боевой славы североказахстанцев.

ГЛАШАТАЙ ДРУЖБЫ

Наш славный земляк, коренной казак станицы Пресновской, замечательный писатель Иван Петрович Шухов в своих произведениях с искренней сыновней любовью писал не только о родном степном крае, о вольнолюбивом казачестве, но и о коренных жителях вольных степей казахах, о бедных русских и украинских переселенцах. Особо выделяется в его произведениях тема дружбы народов.

В 1932 году в статье “За высокое идейно-художественное качество” И.П. Шухов отметил: “Многочисленные поездки по степным крепостям бывшего Западно-Сибирского линейного казачьего войска (одна из таких Линейных крепостей — моя родина) дала мне богатый архивный материал из истории революционного движения среди русского казачества и степных кочевников. Я занялся изучением социально-экономических отношений среди различных национальностей края и, закрепив свои давние детские впечатления последними наблюдениями, приступил к работе над первым своим романом”... Таким романом и была “Горькая линия”.

Еще в августе 1931 г, в письме А.М. Горькому, Шухов сообщил: “Детство я провел в линейной сибирской крепости — казачьей колонизаторской станице, среди русского казачества и основных обитателей края киргиз-кайсаков, между которыми вплоть до 1917 года шла ожесточенная национальная вражда, пока единство

классовых интересов не привело бедноту этих доселе непримиримых наций к одной интернациональной позиции. Вот эту классовую дифференциацию среди русского казачества, эту национальную борьбу, перерастающую в классовую, и пытаюсь я отобразить в “Горькой линии”.

Шухов нарушает сложившуюся традицию, подразумевающую казачество как монолитную силу, объединенную единством классовых интересов, стоящую на страже российского самодержавия. Автор показывает, что громадные состояния богатых казаков складывались за счет нечестной хищнической торговли со степными кочевниками и за счет такой же бессовестной эксплуатации джатаков, безлошадной степной бедноты.

Чего стоит, например, в романе сцена пьяной гульбы казаков, незаконно продавших за несколько ведер водки урочище казахов-скотоводов?! Эта нечестная сделка станичных воротил возмущает простых казаков. Она не задела интересов аульных богачей. Страдают от нее лишь бедные джатаки, которые впоследствии помогают Федору Бушуеву и его товарищам, когда им приходится спастись от преследования царских властей и казачьей верхушки.

Шухов в “Горькой линии” показал казачью станицу со всеми ее плюсами и минусами, а также жизнь аульной казахской бедноты, испытывающей двойной гнет, раскрыл истинную сущность и роль баев, общность их интересов с интересами зажиточного казачества.

Важным эпизодом в разрешении конфликта между русскими и казаками, бедными и богатыми является сцена собрания пастухов в юрте старого Чиграя. Настоящими друзьями казахов-пастухов стали Федор Бушуев и Салкын, которых кочевники приютили у себя в ауле, помогли им избежать расправы со стороны властей. Вскоре пристанище джатаков стало связующим звеном между русскими переселенцами, бедными каза-

хами и бедняками станицы. Как заметил станичный атаман Муганцев в рапорте полковнику Скуратову, “часть казачества вместо благотворного влияния на полудиких инородцев заразилась привычками кочевников и путем дружбы устанавливает тесные связи со степными обитателями”.

Большую роль в романе играет речь Ф. Бушуева на митинге, объединившая в единую массу людей разных национальностей. “Нет, нам нечего делить между казаками, новоселами и степными нашими тамырами”.

Писатель в “Горькой линии” показывает, что вопреки проповедуемой царской администрацией идеологии превосходства казака над инородцем, между казаками, казаками и русскими переселенцами, хотя и не сразу, устанавливаются доброжелательные отношения. В начальный период частыми были набег казаков на кочевников, но в дальнейшем в крае шел процесс зарождения и укрепления дружбы. Герои романа осознают, что враждуют не русские с казаками, а баи с джатаками, помещики с батраками.

В романе значительна фигура Садвакаса. Автор сумел уловить в герое те национальные черты, которые свойственны его народу. Впервые мы встречаемся с Садвакасом, когда он принес “черную новость степи” в юрту Чиграя после событий у сенокосных угодий. Шухов отмечает, как растет авторитет Садвакаса среди казахов-пастухов, его сближение с беднейшей частью казачества. После побега из станичной крепости он почувствовал и понял общность положения русских и казахских бедняков, осознал единственную правду, за которую они стоят вместе, которая их объединила, связала одной нитью.

Садвакас первым из казахов признает русских своими друзьями, протягивая им руку помощи. Он считает Федора и Салкына своими лучшими друзьями: “Я ушел

с ними из русской крепости. Я пойду с ними и дальше. Я знаю, это надежный мой ДРУГ, ДРУГ джатаков”.

Глубоко разрабатывает тему дружбы казахов и русских И.П. Шухов в романе “Ненависть”. Этот роман и тематически связан с “Горькой линией”. В обоих романах описывается жизнь казачества. Различие только в этапах времени: “Горькая линия” доводит жизнь казачества до революции 1917 года, а “Ненависть” берет эту жизнь в период коллективизации сельского хозяйства. На смену Федору Бушуеву в “Ненависти” выступает Роман Каргаполов, организатор и руководитель колхоза “Интернационал”. Из среды аульной бедноты писатель выделяет Аблая, способного руководить общественной работой. Именно эти герои романа закладывают прочную дружбу беднейшей части русского казачества и казахов. Многие страницы “Ненависти”, посвящены совместному труду русских и казахов на коллективном поле, показу того, как в борьбе за новую жизнь крепнет дружба этих народов.

И.П. Шухов был интернационалистом не просто по убеждению, он вырос в микроклимате истинно дружеских межнациональных русско-казахских связей. И в “Горькой линии”, и в “Ненависти” много сцен не только станичной, но и аульной жизни, и автор, и его герои равно свободно чувствуют себя в обеих национальных бытовых и психологических стихиях.

Позже, в “Пресновских страницах”, автор несколько шире раскроет причины такого хорошего знания интернационального бытия. Рассказывая о своем детстве, писатель припомнит немало случаев общих мальчишеских дел, игр и шалостей с аульными ребятами, среди которых оказались и друзья на всю жизнь (в их числе его славные земляки и коллеги Сабит Муқанов и Габит Мусрепов). Правдиво, без прикрас или затемнения, показывает он непредубежденную тягу народа к

народу, которая пробивалась через официально расставленные препоны.

И.П. Шухов всю свою сознательную жизнь был глашатаем дружбы народов. Об этом свидетельствуют его очерки, рассказы и повести, посвященные освоению целинных и залежных земель, строительству первых домен в казахской степи и другие.

Иван Петрович не только сам в своих произведениях вдохновенно воспевал дружбу народов республики, но и своих коллег, писателей Казахстана, страстно призывал к такому действию. Выступая на IV пленуме ЦК Компартии Казахстана (1963 г.), он говорил: “Казахи, русские, украинцы, татары, немцы, люди десятков других национальностей вместе, в едином строю поднимали целину, возводили домны казахстанской Магнитки, вскрывали недра Экибастуза и Сарбая...”

А в статье “Преодолевая провинциальность” (1971 г.) Шухов писал: “Мы обязаны не только изображать жизнь республики во всем ее богатстве и многообразии, но и глубоко раскрывать одно из самых удивительных явлений нашего времени — крепнущую дружбу народов”.

ПИСАТЕЛЬ ОТ ЗЕМЛИ

Послесловие составителя Жарасбая Сулейменова

В Северо-Казахстанской области, в Алматы, во всех регионах, где за свои семь десятков лет побывал Иван Петрович Шухов, еще немало людей, кому памятны встречи с этим энергичным обаятельным человеком.

Безусловно, главное представление о писателе мы получаем, прочтя его книги. Чрезвычайно важно и то, что сообщили, порой — противоречиво, на страницах данного сборника воспоминаний современники писателя.

Закончен ли этот портрет? Едва ли... Иван Шухов — фигура мощная, характер этого человека многосложен.

Политическим или бытовым был судебный процесс над И.Шуховым в 30-е годы?

Почему “сохранил” его Сталин, когда под нож террора пошли многие другие писатели, кому поначалу симпатизировал вождь?

Что случилось в 1974-ом, по какой причине — на самом деле освободили Шухова от должности главного редактора “Простора?”

И наконец, был ли сам Иван Петрович удовлетворен сделанным на закате жизни, успел ли он написать свою Главную книгу?

Вопросы остаются.

Трудно найти человека, все творчество которого обращено к одной лишь тематике. Иван Петрович Шухов, как раз, является таким писателем. Почти все написанное им читается как единое целое о судьбе казаков, населявших казахскую степь.

Романы его: “Горькая линия”, “Ненависть”, “Родина”, повести под общим названием “Пресновские страницы” — есть панорама жизни сибирского казачества, которое с одной стороны, являясь вооруженным сословием Российской империи, играло роль жандарма и колонизатора степного края, с другой — оно слилось с жизнью степи, социальными проблемами людей разных национальностей.

Потомок этого сословия И.П. Шухов хорошо знал историю, воочию видел жизнь и быт казаков. И неспроста эти картины дали толчок его перу. Шухов классическим образом раскрывает сущность казачества: оно было однозначно карателем, сеятелем национальной розни, но вместе с тем казаки завязывали прочные узы со степняками. Поэтому романы Шухова читаются с особым интересом, они помогают разобраться в ситуациях, о которых не всегда ясно написано в учебниках истории и в газетах.

Мне, как составителю этой книги, творчество и деятельность Шухова интересны вдвойне: он, будучи главным редактором видного республиканского (но с популярностью союзного масштаба) литературно-политического журнала “Простор”, не побоялся выступить в защиту репрессированного казахского поэта Магжана Жумабаева. Благодаря его личному подвигу блестящие стихи великого поэта проложили дорогу к читателю, преодолев запрет высочайшего повеления. На такой смелый шаг может пойти только большой гуманист, истинно преданной великому творчеству без политической окраски.

О силе писателя, о его творческом даре можно судить и по тому, как о нем отзываются другие выдающиеся личности. Вот как пишет корифей словесности Габит Мусрепов. Он говорит: “Мой друг Иван Шухов”. Как известно, мастер чеканного слова и требовательный до скрупулезности Габит не пел дифирамбы, не хвалил никого без основания.

Шухов, благодаря своему таланту, завоевал и более широкое высказывание Мусрепова: “Если говорить об Иване Петровиче, для него при оценке литературных явлений не существовало каких бы то ни было побочных, узких, конъюнктурных соображений. Святому делу литературы служил он преданно, смело и самоотверженно. Думаю, многие молодые русские писатели Казахстана обязаны Шухову, давшему им путевку в творческую жизнь. Что же касается меня, признаюсь: мало сказать, что более чем за сорок лет пребывания в рядах Союза писателей я был с Иваном Петровичем близок душевно и творчески. Скажу так: своей искренностью, добротой и оригинальностью он вносил, как говорили в старину, божественный дух дружества — дружбы чистой, благородной, той, что не знает ни зависти, ни корыстного расчета. Поэтому рядом и вместе с ним всегда столь хорошо дышалось и работалось”.

Столетний юбилей выдающегося писателя пробудил у всех, кто работал над данной книгой, новый интерес к жизни и творчеству Ивана Петровича Шухова.

Мы уверены в том, что нынешнее поколение читателей таланта великого земляка-писателя умеет отделять зерна от плевел и пронесет чувство уважения к этому замечательному человеку и его труду через многие годы.

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

И.П. ШУХОВА

(Хронологический указатель)

1906 В станице Пресновской Петропавловского уезда Акмолинской губернии

6 августа (ныне Пресновский район Северо-Казахстанской области Казахской ССР) в семье гуртоправа Петра Семеновича и Ульяны Ивановны Шуховых родился сын Иван.

1914—1917 Годы учебы в Пресновской начальной школе I отдела Сибирского казачьего войска, впоследствии — высшем начальном училище.

1918—1924 И. Шухов учится в Петропавловском педагогическом техникуме. Публикация первых стихотворений в газете “Юный степняк”.

1925—1927 Иван Шухов — студент Омского рабфака. В “Журнале крестьянской молодежи”, “Крестьянском журнале” (Москва) печатаются его первые рассказы: “За Альховской”, “Ломь”, “Перекрестки дорог”.

1927 Поступление в Высший литературно-художественный институт им. В.Я. Брюсова, вскоре закрытый. Участие в московском журнале “Студенческая молодежь”.

1928 Сотрудничество в газете “Рабочий путь” (Омск). Работа в газетах “Красная Башкирия” (Уфа) и “Волжская коммуна” (Самара). Приезд в Новосибирск, публикации стихов и очерков в газете “Советская Сибирь”. Встреча и начало дружбы с Павлом Васильевым.

1928—1929 Работа разъездным корреспондентом “Уральской областной крестьянской газеты” (Свердловск). Сотрудничество с П.П. Бажовым, заведующим

отделом крестьянских писем. В журнале “Рост” опубликована “Песня о джуте, красной звезде и большом джигите”.

1930 Переезд в Москву, работа в редакции “Сельскохозяйственный рабочий” (ранее — “Батрак”).

1931 Выход в свет в московском издательстве “Федерация” первого романа И.П. Шухова “Горькая линия”. Получение письма А.М. Горького с одобрительным отзывом о романе.

1932 В журнале “Земля советская”, № 1, печатаются новеллы: “Выбор прицела”, “Последняя песня Котур-Тага”, из цикла рассказов о борьбе с бандами атамана Анненкова — “Черный круг”. В журнале “Рост”, № 8, опубликована статья писателя “За высокое идейно-художественное качество”. В Москве публикуется роман “Ненависть”.

1933 Приезд И.П. Шухова, члена Оргкомитета по созыву I Всесоюзного съезда советских писателей и разработке Устава СП СССР, в Москву для участия в заседаниях Оргкомитета. В библиотеке “Огонька” (Москва), № 29, выходит сборник новелл “На казахстанском ветру”. В журнале “Рост”, № 21, напечатаны главы из романа “Поединок” (“Родина”) — “Елизар Дыбин”; в журнале “Молодая гвардия” — пьеса “Последний поединок”. Первая встреча и беседа И.П. Шухова с А.М. Горьким.

1934 Участие в работе I съезда писателей Казахстана (июнь) и I Всесоюзного съезда советских писателей (август). Вступление в члены СП СССР. И.П. Шухову вручается членский билет СП СССР, подписанный А.М. Горьким. Беседа И.П. Шухова с А.М. Горьким на даче Алексея Максимовича в Горках, под Москвой (8 марта). Выступление на Пресновском районном съезде Советов (ноябрь).

1935 Журнал “Октябрь” печатает роман “Родина”. Выступление писателя на IX съезде Советов Ка-

захской АССР (январь). В газете “Правда” помещен очерк “Суровая биография”.

1936 Выход на экраны кинофильма “Вражьи тропы” (по роману “Ненависть”). Роман “Родина” опубликован в Казахском краевом издательстве (Алма-Ата).

1938 И.П. Шухов принят кандидатом в члены ВКП(б). Публикация в альманахе “Литературный Казахстан” воспоминаний “Великое сердце” — о встречах с А.М. Горьким и пьесы “Беглый огонь” — по мотивам романа “Ненависть”.

1949 Выход в свет “Поэмы о возвращенном зерне” и романа “Действующая армия”.

1941—1943 И.П. Шухов редактирует пресновскую районную газету “Ударник”. Поездка к воинам-землякам на Северо-Западный фронт. Публикация в газете “Ударник” его писем с фронта: “Дыхание Родины”, “В подземном городе”, “Боевые подруги”, статей: “Казачи — люди русские”, “Боевые будни”.

В журнале “Октябрь” (1943 г.) печатаются “Письма сибирским казакам”.

1944 Вторая поездка на фронт.

1945 Работа над переводом романа С. Муканова “Ботагоз”.

1946 В журнале “Сибирские огни” опубликованы главы из романа “Метель”; в литературно-художественном альманахе “Казахстан” — “Повесть о Темиртау”, в сборнике “Родная земля” (Алма-Ата) — повесть “Накануне”.

1948 В газете “Казахстанская правда” помещены рассказы И.П. Шухова “Жаркая жатва”, “Запечатленный труд”.

Работа над переводом рассказа М. Ауэзова “Охотник с орлом”, книги М. Габдуллина “Мои фронтовые друзья” (Из походной тетради) и очерка Г. Мустафина “Джезказган”.

1949 Выход в свет переработанного и дополненного издания романа “Горькая линия” (Алма-Ата). В газете “Казахстанская правда” 25 февраля опубликована статья И.П. Шухова “Партия ведет”, посвященная IV съезду КП(б) Казахстана.

1950 Публикация книги очерков “Облик дня” (Алма-Ата).

Совместная с Г. Мусреповым и режиссером Л. Степановой работа над сценарием полнометражного художественного фильма “Советский Казахстан”.

1951 Работа над авторизованным переводом романа С. Муканова “Школа жизни” (Книга первая).

1952 В Казлитиздате (Алма-Ата) выходит книга И.П. Шухова “Избранное” с предисловием С. Муканова.

Участие в работе III съезда писателей Казахстана,

1955 В журнале “Октябрь”, № 3, опубликован очерк И.П. Шухова “На целинных землях”.

1956 Награждение И.П. Шухова орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 50-летием со дня рождения.

“Литературная газета” 2 февраля публикует заметки писателя “Обновленная земля”; “Правда” — 12 февраля — очерк “Старожилы поднятой целины”, 8 августа — “Плоды народного подвига”, 12 октября — “Подвиг народа”.

1957 В Москве выходит сборник очерков “Золотое дно” и новый переработанный роман “Ненависть” (издательство “Советский писатель”). Журнал “Советский Казахстан”, № 7, печатает “Зимнюю повесть”.

1958 К Декаде казахского искусства и литературы в Москве издана книга И.П. Шухова “Степные будни” (Алма-Ата).

1959 Поездка в США в составе группы советских писателей и журналистов.

Писатель избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР V созыва от Солоновского избирательного округа.

1961 Выход книги “Дни и ночи Америки”.

1962 “Ненависть” издана в серии “Библиотека сибирского романа”, т. 18 (Новосибирск). В “Правде”, 13 мая, помещен очерк о целине — “Край родимый”.

1963 Выход в свет “Избранного” в четырех томах (Алма-Ата).

И.П. Шухов назначается главным редактором литературно-художественного и общественно-политического журнала Союза писателей Казахстана “Простор”.

Избрание депутатом Верховного Совета Казахской ССР VI созыва от Сергеевского избирательного округа.

Поездка в Югославию. Публикация в газете “Известия” путевых заметок “Дыхание Адриатики”.

1964 Журнал “Простор” печатает воспоминания И. П. Шухова “В гостях у Е.П. Пешковой”. Выступление на VI пленуме ЦК Компартии Казахстана (июль).

Газета “Сельская жизнь”, 1 мая, публикует рассказ “На заре”; журнал “Дружба народов”, № 10, — очерк о целинном крае — “Чаша жизни”.

1966 Награждение вторым орденом Трудового Красного Знамени за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 60-летием со дня рождения.

1968 В Алма-Ате выходит авторизованный перевод Ивана Шухова (совместно с В. Новиковым) книги повестей и рассказов М. Иманжанова “Первые месяцы”.

1969 Издательство “Художественная литература” выпускает в двух томах романы “Горькая линия” и “Ненависть”.

1970 “Простор” печатает повесть “Колокол” (из автобиографического цикла “Пресновские страницы”).

1972 “Простор” публикует повесть “Трава в чистом поле”.

1973 На страницах “Простора” печатается повесть “Отмерцавшие марева”.

1974 Выход в свет “Избранного” в двух томах (Алма-Ата).

И. П. Шухов освобожден от должности главного редактора журнала “Простор”.

1975 В издательстве “Жазушы” выходит книга “Пресновские страницы”.

1976 Награждение писателя орденом Дружбы народов за заслуги в развитии советской литературы и в связи с 70-летием со дня рождения. И.П. Шухов выступает с речью на Объединенном пленуме правлений творческих союзов Казахстана.

Поездка в Северо-Казахстанскую, Кокчетавскую, Целиноградскую области.

Избрание И.П. Шухова Почетным гражданином города Петропавловска.

1977 Присуждение И.П. Шухову Государственной премии Казахской ССР имени Абая за книгу “Пресновские страницы”.

1977 30 апреля Иван Петрович Шухов умер.

СОДЕРЖАНИЕ

Т. Мансуров В СТЕПИ ЕГО СЕРДЦЕ.....	5
Г. Мусрепов ДОРОГОЙ МОЙ ЗЕМЛЯК И ДРУГ.....	11
Д. Снегин ИВАН.....	20
М. Каратаев ПЕВЕЦ ПРОСТОРА.....	32
И. Шухов ГОДЫ БЕЗ ОТЦА, или РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ.....	38
С. Баймухаметов КОСТЁР В СТЕПИ	97
А. Хамидуллин ФЕНОМЕН ТАЛАНТА.....	101
В. Шестериков БЛАГОВЕСТ ШУХОВСКОГО СЛОВА.....	129
А. Кияница ВЕТРЫ НАШЕГО ЛЕТА	136

В.Владимиров СЛОВО О ШУХОВЕ.....	148
Л. Варшавская ИСТОРИИ НА ВЕТРУ.....	174
С. Санбаев ТВОРЧЕСТВО, ВОСТРЕБОВАННОЕ ВРЕМЕНЕМ.....	186
П. Косенко ВИДЕЛ ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА.....	192
К. Омаров ВОТ ТАК И ПОЗНАКОМИЛИСЬ.....	195
Е. Рязанская ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОШЛОМ.....	199
Л. Кашина КОЛОКОЛ НА МИЗИНЦЕ БОГА.....	210
М. Кангожин НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА.....	223
В. Бадиков ЗАВЕТЫ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ШУХОВА.....	226
М. Мелехин К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛ ПЕРО	232
К. Муканов ГЛАШАТАЙ ДРУЖБЫ.....	237
Ж. Сулейменов ПИСАТЕЛЬ ОТ ЗЕМЛИ.....	242

ЖИЗНЕННЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

И.П.ШУХОВА

(Хронологический указатель).....245

ИВАН ШУХОВ

**СОВРЕМЕННОКИ И ЗЕМЛЯКИ
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ**

Редактор-составитель Жарасбай Сулейменов
Ответственный редактор Дмитрий Горбунцов

Редакторы Валерий Киселев, Дарья Пряхина
Верстка: Татьяна Лазарева
Оформление: Максим Георгиев
Техническое обеспечение: Сергей Афанасьев

Подписано в печать 20.07.2006.
Формат 84x108 ¹/₃₂. Печать офсетная. Объем 8 п.л.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3637.

г. Москва, ул. Октябрьская, 98 стр. 1
Тел. (095) 780-05-48
Факс (095)780-05-56
www.voskres.info

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8